

Ирма Кудрова

РУССКИЕ
ВСТРЕЧИ
ПИТЕРА
НОРМАНА

ЖУРНАЛ НЕВА

Ирма Кудрова

РУССКИЕ
ВСТРЕЧИ
ПИТЕРА
НОРМАНА

ЖУРНАЛ НЕВА
Санкт-Петербург

1999

Художественное оформление
Е. Б. Горбатовой

Кугрова И. В.

К88 Русские встречи Питера Нормана. — Журнал «Нева», 1999. — 72 с.

Питер Норман — английский славист и переводчик с русского, неоднократно посещавший Россию и встречавшийся с выдающимися русскими поэтами и писателями, в числе которых — А. Солженицын, А. Ахматова, Л. Чуковская, А. Твардовский, Е. Евтушенко, В. Солоухин. Рассказы Питера Нормана об этих встречах легли в основу новой книги И. Кугровой, представляющей, помимо несомненной литературоведческой, также и познавательную ценность для самого широкого читателя.

*Автор выражает благодарность за помощь
в написании книги Британскому совету
в Санкт-Петербурге*

© Кугрова И. В., 1999

ISBN 5-87516-112-4

© Горбатова Е. Б., 1999, оформление

СОДЕРЖАНИЕ

Русские встречи Питера Нормана	3
Питер Норман, он же Петр Петрович: любовь через всю жизнь	9
Александр Твардовский	17
Корней Чуковский	21
Евгений Евтушенко	31
Владимир Солоухин	35
Анна Ахматова	41
Арсений Тарковский	57
Александр Солженицын	61
Лидия Чуковская	65

РУССКИЕ ВСТРЕЧИ ПИТЕРА НОРМАНА

Зарубежные слависты, которых мне довелось встречать, — народ удивительный. Наглядевшись и наслушавшись, могу утверждать: это люди какой-то особой породы. Они будто не совсем и французы — или англичане — или голландцы — или даже японцы; они в чем-то существенном — русские, очень уж близкого нам душевного склада. Многие из них просто болеют Россией, русской культурой, русскими людьми; нуждаются в русских друзьях, не могут подолгу находиться вдали от России — тоскуют, хиреют, чувствуют себя несчастливymi.

Впрочем, касается это не только профессионалов-исследователей или профессионалов-переводчиков. Похоже, какая-то внутренняя преопределенность заставляет человека, родившегося вдали от России, выбрать вдруг для изучения эту экзотику — русский язык. Кажется, этот человек просто не там родился. Знаю француженку Николь, выучившую русский и в самые тяжкие наши годы (начало девяностых) отправившуюся во Владимир — преподавать французский язык в техникуме. И итальянскую швейцарку знаю Агеле, преподавательницу в вальдорфской школе Лугано. Русский язык ей как бы совершенно ни к чему. Но когда подвернулся случай, Агеле полетела в Иркутск, спала там у своей неожиданной знакомой на полу в спальном мешке (другого варианта просто не было), вернулась совершенно счастливая и больше всего на свете мечтает повторить поездку при первом же удобном случае. А немка Эрдмуте из Франкфурта на Майне, выучившая русский язык тоже просто так, ни для чего? Она не преподаватель и не перевод-

чица, но в течение нескольких лет погряд приезжает летом в Москву и с раннего утра до поздней ночи пропадает в музеях, театрах, пригородах и в гостях, ненасытно впитывая русское искусство, и русский быт, и русскую природу, не пугаясь никаких наших кошмаров. А американка Джени, состоятельная, благополучная, из Бостона? Она появилась в Петербурге поначалу как бы из любопытства, поработала сначала в школе, потом в какой-то совместной фирме, а потом все проглевашшая и проглевашшая сроки работы — и с такой неохотой уехала...

И все же вернемся к переводчикам. Волей случая, а не закономерностями научных конференций я встретилась с англичанкой Анжелой Ливингстон на земле Израиля. Ее имя мне было знакомо по давнему ее переводу эссе Марины Цветаевой «Искусство при свете совести». Ко времени нашей первой жизненной встречи она (тогда профессор университета Эссекс в Колчестере) уже успела перевести на английский много цветаявских текстов — и прозаических, и поэтических, они составили целую книгу. Теперь она заканчивала работу над труднейшей для перевода цветаявской поэмой «Крысолов». А одновременно переводила не более и не менее как... прозу Андрея Платонова! В переводческом деле ее явно воодушевляли и воодушевляют только задачи, представляющиеся совершенно невыполнимыми. Мне было нелегко отвечать на ее готовые вопросы по цветаявским, а уж особенно по платоновским текстам. Каково сегодняшнему городскому человеку — даже и выдавшему в глаза русскую печь — пояснять, к примеру, слово «загнетка»? Вы — сможете? Без словаря под рукой?

Но вот — и года не прошло — вместе с Анжелой и ее коллегой-переводчиком Робертом Чендлером, таким же страстным любителем неодолимых задач, мы оказываемся уже в одном из залов петербургского Этнографического музея. С помощью научной сотрудницы музея англичане рассматривают в экспозиции, только что не с лупой в руках, русскую печь, ставя в тупик меня и даже музейного работника своими въедливыми вопросами. В конце концов

нам приносят толстенный том научного исследования — с описаниями и даже чертежами русской печки... А потом Анжела и Роберт пойдут еще и в Музей истории железнодорожного транспорта и, вернувшись, не нахвалятся интересными экспонатами. А еще позже Анжела похвастается мне, что в Лондоне она сама попробовала вести старый паровоз — чтобы опять-таки приблизиться к платоновским текстам!..

Пройдет время, и я снова увижусь с моими английскими грузьями — на этот раз в лондонском доме Валентины Коу, давней русской подруги Анжелы. Ребенком маленькую Валу вывезли родители из нэповской России, из-под Одессы; потом она долго жила в Болгарии, в Англию попала в 1939 году. Преподавала русский язык в Университете, теперь давно на пенсии. Ей никогда не дашь ее солидных лет — она попросту красива, без всяких к тому ухищрений, бывает же такое! Красива, мягка, иронична — и обожает поэзию! Я чувствую себя просто счастливой около человека, который вместо «Здравствуйте!» после большого перерыва начинает с экстренного сообщения о вот таком стихотворении Мандельштама — «Послушайте, каково?» Она давно не работает в университете, но связей с английскими славистами не растеряла. И уже который год по вторникам, раз в две недели, они собираются в уютном доме Валентины, чтобы обсудить новые свои переводы. Люди разного возраста, они объединены истовой страстью к русской литературе — в ней их жизнь.

И вот я сижу в уголке гостиной, мечтая лишь о том, чтобы о моем присутствии здесь все поскорее забыли. Английского я почти не знаю, но наблюдать за происходящим все равно очень интересно. Сегодня здесь обсуждают перевод знаменитого стихотворения Бориса Пастернака «Сестра моя — жизнь и сегодня в разливе...»

Обсуждение идет бурно. Анализ тем не менее неторопливый — строфа за строфой. Меня все-таки втягивают в разговор, принуждая комментировать то одно, то другое место стихотворения. Хорошенькое дело — пытаться пересказать будничной прозой смысл той или другой отдельно взятой пастернаковской строки! Я прикрываюсь, как щитом

цветаевской цитатой насчет того, что Пастернака надо понимать больше всего по интонации — так, как нас понимают животные. Но англичан этот совет явно не удовлетворяет, они хотят конкретностей.

Наконец, звучит английский перевод всего стихотворения (автор перевода — та же Анжела Ливингстон). И с первых же строк даже безъязыкий слушатель (а может быть, он — особенно!) узнаёт поразительную музыку пастернаковского стиха. Какое счастье, что перевод не новомодный: не белым стихом, а с рифмами и ритмами русского оригинала...

Было странное ощущение: будто меня лично огарили, мне лично устроили хорошо продуманный праздник. Хотя, вообще говоря, он не имел ко мне никакого отношения — случайно совпало. Но на второй день приезда в незнакомый город и незнакомую страну с почти неизвестным языком очутиться среди десятка незнакомых людей, трепетно погруженных в твой язык и в текст трогательнейшего из наших поэтов... Впрочем, Пастернак был в этот вечер — их поэт, совершенно свой для них поэт, поэт тех, кто так самозабвенно любит поэзию.

Я держу в руках английское издание «Дневников» Лидии Чуковской. Здесь все стихи Анны Ахматовой переведены Питером Норманом. Раскрываю другую книгу, тоже русского автора в переводе на английский: толстый том биографии Марины Цветаевой, написанной Викторией Швейцер. И тут все стихотворные тексты — цветаевские стихи — переведены Питером Норманом. Тот же Питер Норман перевел пушкинского «Медного всадника», около двадцати стихотворений Арсения Тарковского, переводил поэтические тексты Пастернака и Солоухина. В прозе перевел на английский повесть Лидии Чуковской «Спуск на воду».

По счастливому стечению обстоятельств я впервые оказалась в доме Питера Нормана в феврале 1997 года. Супруги Норманы живут в предместье Лондона Голдерс-Грин, оба свободно говорят по-русски. Это и немудрено: хозяйка дома Наталья Семеновна (если называть ее так

по нашему обыкновению, хотя в Лондоне было естественнее называть ее просто Наташей) — из русских эмигрантов так называемой «первой волны», дочь известного русского религиозного философа Семена Людвиговича Франка. Сам же Питер Норман — один из известнейших английских славистов, много лет проработавший на славянской кафедре Лондонского университета и неоднократно бывавший в нашей стране.

Уже через несколько минут в нашей беседе замелькали имена Ахматовой, Арсения и Андрея Тарковских, Пастернака, Чуковских (отца и дочери), Твардовского, Солоухина, Евтушенко... Питер встречался с ними, — и, как правило, не раз-другой; проводил вместе и по несколько недель.

— Питер, то, что вы сейчас мне рассказываете, у вас где-нибудь записано?

— Да нет...

— Но почему же?

Улыбается добродушной своей улыбкой:

— А я очень ленивый...

Но все-таки показывает в качестве оправдания толстенный том недавно вышедшего составленного им англо-русского словаря. Результат напряженной долголетней работы.

— Вот: я был этим занят... А теперь уже не могу — глаза!

Это поначалу почти незаметно, но теперешнее состояние зрения Питера — катастрофично. Он видит только самые общие очертания предметов, а читать уже не может совсем.

— Вот если бы вы записали...

И я записала.

В ноябре того же года Британский совет в Петербурге счел, что воспоминания Питера Нормана, некогда активно сотрудничавшего с тем же Британским советом, заслуживают внимания. И предоставил мне «трелл-грант», что означало оплату дороги в Лондон и обратно.

Так я снова оказалась в этом замечательном доме. Пришлось разориться на маленький диктофон — превосходное, оказывается, изобретение! И начались наши беседы.

Память, как известно, — капризная штука. Она не желает выдавать запрашиваемую информацию порядк в нужном порядке и со всеми красочными деталями. Подробности часто выскакивают в неподожденный момент, когда диктофона под рукой не оказывается: за ужином, например, — или около телевизора. Пока я бегу за аппаратом, те подробности уже испарились, их теснят другие. А у меня самой — память никудышная. Вернее — особая. Я помню шутку, общую тональность эпизода, но колоритные детали антуража исчезают. А Питер к тому же человек неуемного жизнелюбия, ему все время хочется отвлекаться, хочется вспоминать не только сугубо литературное, а всякое. И это замечательно, но только к тому эпизоду мы уже не вернемся.

Питер Норман прожил глинную и интереснейшую жизнь, понятно, что ему скучно выстраивать в ряд то, что в ряд не вспоминается...

ПИТЕР НОРМАН, ОН ЖЕ ПЕТР ПЕТРОВИЧ: ЛЮБОВЬ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Еще школьником Питер купил русскую грамматику и одолел несколько первых глав. Но ему еще и в голову не могло прийти, что это будет любовь на всю жизнь. Питер был сыном банкира, и отец считал, что сын должен идти по его стопам. Правда, в доме был интерес и к искусству.

Время от времени отец писал шуточные «стихи на случай», не относясь к этому серьезно. Но кроме того, были в семье и актеры — один даже стал основателем театра в Лондоне.

Учился Питер в Уотфорде в «грэммер скул» — это школа очень хорошего уровня, — правда, не уровня знаменитых школ Итона и Харроу, но все же отличная школа. И больше всего в школьные годы мальчишка привлекало изучение языков — французского и немецкого, позже он овладел и итальянским. Мечта была о дальнейшей учебе в Оксфорде, но к моменту окончания школы уже началась вторая мировая война. И образование было прервано. Вскоре Питер ушел на службу в морскую авиацию.

Военную подготовку он проходил на острове Тринидад в Карибском море, обучаясь профессии авиаштурмана. Там сблизился с одним из офицеров — очень образованным человеком, занимавшим важный пост. Офицер поддержал увлечение Питера русским языком и Россией. Шла война, русские были союзниками Англии, конечно, это тоже подогревало интерес

к русской культуре. Жизнь сложилась так, что непосредственно в военных действиях Питеру Норману не пришлось участвовать. В день получения офицерского звания он устроил праздник для своих друзей, и в какой-то веселый момент на радостях упал в бассейн, серьезно повредив себе носовую перегородку. Угодил в госпиталь, перенес операцию — но после этого ему уже запретили подыматься в воздух: высокое давление было противопоказано. И Питера перевели на преподавательскую работу. Он стал обучать молодые кадры авианавигации, а позже и другим предметам. Преподавание ему понравилось.

Когда война окончилась, Питер осуществил свою старую мечту: поступил в Оксфордский университет. Он учился в колледже Линкольн, ректор которого — лорд Марре — был замечательным человеком («Это был гениальный человек», — говорит о нем Питер, всегда, впрочем, щедрый на похвалу). Несколько лет спустя Марре возглавил Комитет по университетским субсидиям.

Русский язык в Оксфорде преподавали тогда известные профессора — эмигранты из России — Надежда Городецкая и Сергей Коновалов. Это были очень хорошие учителя. А позже Питер отшлифовывал знание русского уже в России, и еще позже дома — благодаря русским жене и теще.

Он мечтал попасть в Россию. Но единственный способ попасть в Россию существовал в послевоенные годы через Министерство иностранных дел — Форейн Офис. И вот сразу по окончании университета Норман стал его сотрудником. «Я мечтал о России, но, кроме того, подумал, — говорит Питер, — что интересна и сама по себе работа дипломата».

И в 1949 году он впервые приезжает в Москву.

Летел он туда на стареньком самолете, очень низко из-за плохой погоды, не выше 50 футов над землей.

«Это было страшновато. Москва не приняла нас из-за сильного снегопада. Самолету пришлось приземлиться в Туле. Там нас разместили в рядовой провинциальной гостинице, — и я получил первые неза-

бываемые впечатления от русской жизни. Мы оказались в одной большой комнате с несколькими русскими. Среди них были и мужчины и женщины-крестьянки, они вели себя очень непринужденно и не чересчур стыдливо. В той же комнате оказались еще и собаки и даже поросята. Это первое „русское” впечатление оказалось незабываемым!

Через день мы полетели дальше. И вот, наконец, Москва.

Нашим послом тогда был очень симпатичный человек сэр Дэвид Келли. Посольство занимало большой особняк дореволюционной постройки. Мои обязанности были не слишком сложны. Я усиленно читал газеты, стараясь почерпнуть из них информацию о жизни советской страны. Это было не так-то просто: газетная информация тогда была предельно выверенной и однотипной в самых разных изданиях. Журналисты писали совсем иначе, чем на Западе.

Нет, шпионом я не был! Я просто переводил на английский самые интересные газетные и журнальные материалы; ими интересовалась, в частности, жена посла, не знавшая русского языка, — бельгийка по происхождению. Это была моя первая работа переводчика.

Зарплата у нас была роскошная, мы могли купить все, что необходимо. Но общение с людьми налаживалось с трудом. Нас явно побаивались. Отсаживались за гальний столик в ресторанах, избегали вступать в разговоры на улицах. Время было сложное — шла компания борьбы с космополитами, и даже короткие разговоры с иностранцами могли дорого обойтись. А все-таки контакты понемногу завязывались. Легче всего оказалось разговаривать таксистов. Они были на редкость доброжелательны, всегда интересовались нашими впечатлениями от Москвы, да и сами рассказывали многое. Меня удивляла их образованность, начитанность. Один из них подарил мне книгу: то была «Угрюм-река» Шишкова, — поступок, непревзойденный для шофера-англичанина!

В одном из московских театров шла в это время пьеса какого-то советского драматурга «Особняк в пе-

реулке», — и речь шла в ней как раз о доме, в котором мы жили. Мы были выведены там, конечно, как злые шпионы и матерые враги советской власти. Наши сотрудники не раз ходили на эти спектакли, и я вместе с ними. Весело нам не было.

Конечно, обслуга наша была завербованной, мы это прекрасно понимали, и все-таки отношения у нас по большей части складывались наилучшим образом. Моя русская горничная прямо спрашивала меня время от времени: «Господин Норман, что мне писать в отчете?» И я помогал ей составлять эти ее регулярные доносы!

Изредка мы путешествовали по стране. Но посещать некоторые места было запрещено, а мы как-то не всегда знали точно эти ограничения. Помню эпизод в Клину, куда мы поехали, намереваясь посетить дом-музей Петра Ильича Чайковского. Вернулись мы поздно вечером и зашли в ресторан поужинать. Уже выпили первые сто грамм, когда в зал вдруг ворвались несколько мужчин и буквально выкинули нас на улицу. Они заявили, что мы не имеем права посещать такие места: это запретная зона...

Вскоре после приезда в СССР я увидел на улице объявление о лекции известной тогда журналистки Ольги Четкиной: «Двадцать один день в Лондоне». Мне стало любопытно, и я пошел послушать.

Собралось там около ста человек. Я увидел в зале множество симпатичных молодых лиц.

Подробностей лекции я, конечно, уже не помню, но речь там шла, главным образом, о тяжелом экономическом положении Англии, о тяжелых бедствиях населения и даже о детской смертности от недоедания! А также о том, что учиться в высших учебных заведениях могут в Великобритании только дети лордов. По окончании лекции публика столпилась вокруг журналистки. Ей задавали много вопросов: о роли короля, о положении трудящихся. Отвечая, Четкина упорно повторяла, что в СССР жизнь несравненно лучше.

И тут я не смог больше вытерпеть и вмешался в разговор. Я сказал, что я англичанин, совсем недавно приехал из Лондона, что мне очень нравится в Москве, но

дела у англичан совсем не так плохи, как только что было сказано. И что я, например, совсем не лорд, и все же не так давно закончил Оксфордский университет. Возцарилось ошеломленное молчание. Но молодежь все же явно мной заинтересовалась, и посыпались вопросы. Я с удовольствием отвечал, — в том числе и на вопрос, не шпион ли я сам и каким образом оказался в Москве.

— Я дипломат, — сказал я, — и мне у вас в Москве очень интересно, но, что касается уровня жизни, — позвольте все-таки мне сказать, что люди в Англии живут гораздо обеспеченнее, чем здесь.

В какой-то момент под шумок Чететкина из зала исчезла. А публика, столпившаяся вокруг меня, наверное, еще долго бы не разошлась, но кто-то догадливый просто выключил свет...

Я пробыл тогда в Москве два с половиной года.

Потом вернулся в Лондон. И тут мне стали предлагать переключиться на Восток, изучить китайский язык и отправиться на работу в Гонконг. Но мне этого совсем не хотелось. Один экзотический язык — русский — я уже неплохо освоил, мне хотелось продолжать совершенствоваться в нем и другой экзотики уже не захотелось.

Еще в годы войны я понял, что мне по душе преподавательская деятельность, — я любил иметь дело с молодежью. И теперь я стал преподавателем на славянской кафедре Лондонского университета.

В 1951 году в том же университете я встретил Наташу Франк, дочь известного русского философа Семена Людвиговича Франка, высланного из пределов Советской России по приказу советского правительства осенью 1922 года на том самом знаменитом «корабле мудрецов». Вскоре Наташа стала моей женой. Ей и моей теще Татьяне Сергеевне я обязан успехами моих дальнейших занятий русским языком».

Встреча Питера с Наташей стала, по существу, тоже встречей с Россией — в лице русских скиталь-

цев, сосланных на чужбину волей вождей октябрьской революции.

Биография Натальи Франк вся прошита биографией века.

Она родилась в Петербурге. Ее отец в эти годы был приват-доцентом при Петербургском университете; в канун революции вышла в свет его вторая философская книга «Душа человека». В сентябре 1917 года родители переехали в Саратов, — там жила семья матери, Татьяны Сергеевны Барцевой, а отцу предложили возглавить историко-философский факультет университета.

Шла гражданская война, и вскоре в Саратове начался голод. В 1919 году С. Л. Франк перевез семью в немецкое село на степном берегу Волги, где было пока более или менее благополучно. Мать развела уток, гусей, корову. Потом начались налеты разных банд, сменявших друг друга, пришлось бежать и оттуда. Наташа смутно помнит, как они ехали на санях попеременно с коровой и гусями, — ей было в ту пору года четыре.

Когда в 1921 году начался нэп, отца пригласили в Москву читать лекции. И через короткое время арестовали. Тогда же были арестованы и многие другие профессора. Впрочем, их всех тогда быстро освободили, сообщив, что они будут высланы навсегда за пределы страны. Германия согласилась принять к себе вынужденных эмигрантов.

И вот вместе с семьями все погрузились в Петрограде на корабль. Наутро мать Наташи встала рано и увидела на палубе отца: он плакал, прощаясь с Россией. А потом в какой-то момент корабль причалил, и несколько человек сошли на берег.

Тогда капитан собрал всех своих пассажиров и сказал: «Поздравляю вас! — вот теперь вы совершенно свободны!» Это означало, что сошли на берег сопровождавшие высланных чекисты.

В Германии тогда царил чудовищная инфляция, доллары были очень весомы: на один доллар можно было снять квартиру. Семейю Франка выручило то об-

стоятельство, что у отца была сестра, которая еще раньше уехала из России с мужем. Она была богата и посылала семье брата деньги.

Жизнь в Берлине затянулась надолго.

Спустя некоторое время немецкое правительство разрешило высланным профессорам открыть в Берлине Русский Научный Институт — своего рода университет. Это было сделано для молодежи, которая не успела закончить в России высшее образование до революции. Профессора преподавали в Институте за мизерную плату. Позже Наташу и братьев послали учиться в немецкую школу, в Берлине Наташа ее и закончила.

В их берлинской квартире постоянно бывали разные знаменитые люди, в том числе Лев Карсавин и Николай Бердяев, который был близким другом отца. Но вскоре русские стали уезжать из Берлина в Прагу и Париж.

«Мой отец, — рассказывает Наташа, — хорошо знал немецкий язык и потому долго не хотел уезжать из Германии: он любил эту страну, хорошо знал ее культуру. И мы продержались в Германии до 1938 года. С приходом к власти Гитлера поначалу мы не чувствовали опасности. Отец был директором Института и до поры до времени его не трогали. Но вскоре положение изменилось. И в конце концов он уехал первым из нашей семьи в Швейцарию, где жил его большой друг — врач-психиатр. А мы с мамой с большим трудом попали во Францию. С трудом, потому что мы приехали из России с советскими паспортами и никак от них не могли избавиться, а с ними никто нас не хотел впускать.

Наконец мигрантства кончились, и мы приехали в Париж. Нам не было разрешено привезти с собой ничего из наших вещей. К счастью, в Париже у родителей оказалось много друзей и родственников, и они нам помогли. Я стала учить французский язык, пыталась приобрести профессию секретарши. А в 1939 году встретила человека, который стал моим первым мужем; он был англича-

нин. И вскоре я уехала с ним в Англию. Это было перед самым началом второй мировой войны».

Дом в лондонском предместье Голдерс-Грин, где теперь живут Норманы, был снят именно тогда. Но началась война, начались страшные бомбардировки Лондона. Муж Наташи знал немецкий язык, и его призвали на службу сначала в специальный отдел секретной разведки, где занимались расшифровкой немецких кодов, а потом отправили сопровождать корабли, которые везли в Россию оружие через Мурманск. И через год он погиб.

Во время бомбежек Наташе сначала приходилось ночевать с маленьким сыном в бомбоубежище, вырытом около дома; потом она уехала в деревню, где было безопаснее. Там родился ее второй сын. Вскоре она нашла работу в Лондоне и устроила своих малышей в другую деревню, в английскую семью. Видеть их ей пришлось теперь только наездами.

А потом к ней приехали из Франции родители.

С. Л. Франк скончался в 1950 году, в этом доме.

В следующем году Наташа получила работу преподавателя русского языка в Лондонском университете. И еще через год она встретила там Питера Нормана.

«Раз в два года „русистам” университета рекомендовалось посещение СССР сроком на шесть-восемь недель. И я стал с удовольствием использовать эту возможность. Регулярно (чаще всего весной) я наезжал в Москву и Петербург.

В 1956 году началось мое сотрудничество с Британским советом, который занимается налаживанием англо-русских культурных отношений. Тогда в Англии было еще мало англичан, свободно говорящих по-русски. Между тем из СССР начали приезжать первые делегации. И мне стали поручать роль переводчика. Так постепенно упрочивались мои личные знакомства, расширялся их круг, рождались новые связи и дружбы».

АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Первый визит советских писателей в Англию по линии культурных связей после прорыва режима «железного занавеса» состоялся в 1956 году. Немалую роль сыграл тут Чарльз Сноу, известный английский писатель, активно интересовавшийся тогда русскими делами. Одними из первых в Лондон приехали Константин Федин и Александр Твардовский. Питер был к ним «прикомандирован» Британским советом в качестве переводчика, и они провели вместе три недели.

«Это было страшно интересно для меня, — вспоминает Норман. — С Твардовским у нас сразу сложились отличные отношения. Это был очень интересный человек, и он очень красиво говорил по-русски! Своеобразно и красноречиво. Он стал называть меня попросту Петром Петровичем, а то и Петенькой, и мне это нравилось.

Позже он шутил, что перед ним тогда поставили выбор: Америка или Англия? И он говорил, что выбрал меньшее из зол. Он вообще любил шутить, с ним я чувствовал себя легко. Я его просто полюбил. Федин был человеком другого типа, наше с ним общение было отдаленнее, я не ощущал, что могу быть с ним настолько свободным, как это получилось с Твардовским.

Явно прохладными были отношения и между самими писателями, чтобы не сказать больше. Они постоянно подкалывали друг друга шпильками, было заметно, что они недолюбливают друг друга. Однажды они тут даже подрались, из-за чего — я так и не понял. Александр Трифонович признался мне однажды, что когда он

собрался в Англию, в Союзе писателей, видимо, порешили, что ему необходим сторож, — и гали в напарники Федина. „Нарочно, — говорил Тварговский, — чтобы отравить мне впечатление!»

Программа у нас была насыщенная. Мы много путешествовали и, разумеется, бродили по Лондону. Правда, я не был с ними все время, иногда меня сменяла еще одна переводчица из Британского совета.

Помню встречу в доме английского поэта Стивена Спендера. Собралось там интересное общество: известный славист (между прочим, переводчик „Доктора Живаго”) Макс Хейвуд, редактор популярного юмористического журнала „Панч” Малколм Магаридж, присутствовал также Хью Гейтскелл — видный деятель лейбористской партии, входивший тогда в правительство. Разговор получился очень оживленным и касался самых разных тем. Только Федин сидел с каменным лицом.

Однажды мы шли с Александром Трифоновичем по лондонской улице и проходили мимо паба. А у меня в тот день страшно разболелась голова, так что я не мог этого скрыть. И вот Тварговский предложил зайти в паб и выпить водки:

— Боль пройдет тут же! — сказал он.

И ведь оказался совершенно прав! Мы выпили, — и я на глазах воскрес... Федина в тот день, кажется, с нами не было. Но сам Тварговский во время всей этой поездки вел себя в отношении алкоголя очень осторожно.

Были мы и в филармоническом концерте. Но бедный Александр Трифонович как раз в это время заболел и прокашлял весь концерт. Кое-как мы досидели до конца.

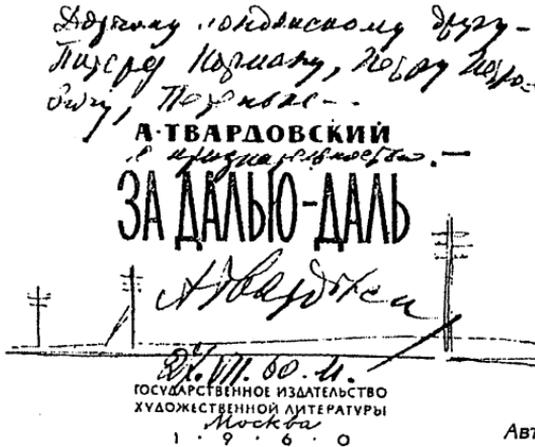
В один из дней на машине Британского совета мы поехали ко мне домой. Тварговскому и Федину было интересно посмотреть, как я живу. Тогда я жил еще в Буше — в 20 милях от Лондона. И в моем доме был полный разгром, потому что как раз в это время я готовился к переезду на новое место жительства. Книги и рукописи валялись в беспорядке всюду — на столе и на полу.

Неожиданно Федин наткнулся на мою диссертацию по русской грамматике — о связях числительных с группами словами в русском языке. Федин стал ее листать, с особенным интересом прослеживая, кого именно из русских писателей я там цитировал. И ужасно обрадовался, когда обнаружил цитаты из его собственных произведений! Я удостоился его горячей похвалы...

Оба выступали в Пушкинском клубе и в обществе „СССР—Великобритания”. На одном из таких вечеров Твардовского спросили, среди прочего, как обстоят дела с антирелигиозной пропагандой в СССР. Он ответил двусмысленно: „Плохо поставлено дело, очень плохо, надо было бы лучше...”

Выступал Александр Трифонович и в Оксфорде. Там его виртуозно переводил князь Оболенский. Память у Дмитрия Оболенского всегда была отменная: он обычно выслушивал большие куски речи докладчика и затем безукоризненно, не теряя ни одного слова и оттенка, переводил на английский».

Когда Твардовский вернулся в Россию, он написал статью, опубликованную в одной из центральных газет, упомянув в ней Питера Нормана. Он восхищался, в част-



Автограф
А. Т. Твардовского
на титульном листе книги

ности, тем, как легко Питер цитировал наизусть русские стихи. Кажется, упомянуты были стихи «Я вас любил, любовь еще быть может...» — Твардовский пришел в восхищение, услышав эти строки из уст настоящего англичанина...

Потом они еще виделись не однажды, когда Норман приезжал в Москву.

«Мы понимали друг друга с полуслова и хорошо ладили.

Я несколько раз приходил в редакцию журнала „Новый мир“, где, как известно, он был главным редактором. Помню, он показал мне ящик стола, заполненный толстыми пачками исписанной бумаги. „Вот, — сказал он, — это все мне присылает Федин — целое наводнение посредственных рукописей. А я совсем не хочу этого печатать!“

Однажды мы выпили в его кабинете бутылку водки вволю, нам никто не мешал. Да и всякий был бы лишним...

Не могу забыть его сердечности. В один из моих приездов в Москву, едва мы поговорились о встрече, как я простудился и заболел. Я жил тогда в гостинице. И тогда Твардовский послал ко мне шофера с разными фруктами-витаминами. Жаль, водки в пакете не оказалось...

Бывал я по его приглашению и на его даче. Александр Трифонович очень гордился тем, что сделал там у себя камин, по образцу английских, и хотел мне его продемонстрировать. На даче я познакомился с младшей дочерью писателя Олей, и, мне кажется, мы понравились друг другу. Позже она написала нам, что родила сына и назвала его Алексеем в честь святого Алексея, человека Божия).

«Дорогому лондонскому другу — Питеру Норману, Петру Петровичу, Петеньке — с признательностью. — 27 июля 1960 г, Москва» — так подписал Александр Трифонович Питеру только что вышедшую тогда свою книгу «За далью — даль». А вот и надпись на фотографии: «В память о встречах в Лондоне и в Москве». Дата на ней — 1 апреля 1969 года.

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

«Осенью 1959 года я решил поехать в Переделкино к Борису Пастернаку. Я давно хотел с ним познакомиться, но теперь у меня появился хороший предлог: мой шурин, талантливый литературный критик и историк Виктор Франк написал статью о романе Пастернака „Доктор Живаго”. И ему очень хотелось, чтобы я вручил статью лично автору романа.

Я сошел с поезда и пошел по пустынной дороге к писательскому поселку. Стояла скверная холодная погода, и дорога показалась мне нескончаемой. Уже пройдя ее почти до конца, я увидел на перекрестке большую фигуру мужчины в широкополой шляпе. Обойти ее было невозможно, и я решился спросить, как мне найти дом Пастернака.

— Пастернака сегодня в Переделкине нет, он уехал на весь день в Москву, — ответил незнакомец, заинтересованно меня оглядывая.

— А вы — англичанин!

И он уверенно ткнул меня пальцем в грудь.

— Верно, я англичанин, — подтвердил я.

— Ага, ну, тогда пошли ко мне домой обедать.

Это был Корней Иванович Чуковский. И он в самом деле привел меня в свой дом, где семья уже сидела вокруг обеденного стола. Корней Иванович представил меня:

— Вот, — сказал он домашним, — привел к вам английского шпиона! Прошу любить и жаловать!

Никто за столом, кажется, не взволновался и не удивился.

Так началось наше знакомство, потом переросшее в дружбу с Чуковским. Позже я подружился и с его дочерью Лидией Корнеевной.

В тот день, отобедав, мы разговаривали с Корнеем Ивановичем наедине в его кабинете. Говорили об английской поэзии, которую Чуковский хорошо знал и любил. Читали друг другу стихи. Он захотел послушать в моем чтении тексты своего любимого поэта Роберта Брунинга, и я с удовольствием это сделал.

Корней Иванович рассказал, как в юности, когда он работал кровельщиком, он нашел на крыше одного дома разорванный учебник английского языка. Этот учебник, говорил он, положил начало его любви к английской литературе. Но в книжке были оторваны начальные страницы: введение и почти вся фонетика.

— Вот почему, — сказал Чуковский, — я до сих пор не в ладах с произношением, хотя читать по-английски вполне могу.

Мы успели тогда поговорить о многом.

Я запомнил жалобу Корнея Ивановича, показавшего мне ряды толстых одинаковых томов на его книжной полке.

— Вот чем я должен был заниматься под Сталиным, — сказал он с горечью.

Это были тома дореволюционного издания собрания сочинений Николая Александровича Некрасова. Чуковский же был главным редактором советского издания классика. Корней Иванович очень ценил этого поэта и с удовольствием говорил о подлинной народности и музыке его стихов. Но бесконечная редактура долгие годы подряд отнимала силы Корнея Ивановича, мешая заниматься собственным творчеством.

Конечно, мы говорили и о Пастернаке, над головой которого собиравались в это время грозные тучи.

— Ему не надо было писать этого романа, — сказал Чуковский, качая головой.

В этот раз (или в другой?) мы говорили с Корнеем Ивановичем и об арестах писателей, которые шквалом прошли по писательскому поселку еще в тридцатые

годы. Он рассказал, в частности, как совсем незадолго до своего ареста приходил к нему Борис Пильняк с чемоданчиком, приготовленным заранее для рокового дня. А вскоре после того, как его увезли на Лубянку, арестовали и жену писателя.

Я не помню всех разговоров той встречи, но мы явно понравились друг другу.

И снова увиделись чуть ли не на следующий день, когда я приехал опять, чтобы попасть к Пастернаку...»

Прошло три года после этой их первой встречи, и в 1962 году Оксфордский университет присудил Чуковскому почетное звание доктора литературы.

Деятнадцатого мая Корней Иванович прилетел в Великобританию. И Питер с радостью узнал, что Британский совет поручает ему опекать писателя в качестве сопровождающего и «телохранителя».

«В те дни я помню Корнея Ивановича веселым и радостным.

В Оксфорде торжественная церемония проходила в Тейлориане, так как величественное здание Шелдоньяна, где обычно проводятся такие мероприятия, было на ремонте.

В торжественной речи, произнесенной на латыни, как это полагалось по традиции, идущей еще из средневековья, оратор говорил о Чуковском как о писателе, который обогатил современную литературу своими замечательными исследованиями творчества русского поэта Некрасова, а также очаровательными стихами для детей и превосходными переводами. Помню, что оратор назвал Чуковского „магус магнификус” — „сногшибательным волшебником”. Затруднение возникло с названиями произведений Чуковского для детей — их никак не удавалось передать по-английски. Ну как можно было перевести, например, „Мойгодыр”? Только „Крокодилус” оказался переводимым.

Смешливый Чуковский, похоже, с трудом сохранял серьезный вид во время традиционной „латинской по-

хвалы". Он почесывал в затылке и округлял глаза, оглядывая старинный зал тринадцатого века, который был заполнен огромным количеством ученых „донов" в красно-серых средневековых мантиях и четырехугольных шапочках, и чуть ли не подмигивал некоторым, узнавая знакомые лица. Все это, конечно, было совсем не в правилах торжественного собрания.

Потом в краткой ответной речи Корней Иванович напомнил присутствующим о своих предшественниках — деятелях русской культуры, ранее получивших здесь такое же почетное звание: назвал имена Жуковского и Тургенева, Глазунова, Менделеева, Шостаковича.

По окончании приема мы возвращались в отель „Рэнгольф", где Корней Иванович остановился. И он снова не мог удержаться, чтобы не подмигнуть мальчику-лифтеру, показывая на свой необычный наряд:

— Мне это идет, правда? — спросил он мальчика.

Чуковскому разрешили остаться в Оксфорде на целых две недели. Он читал здесь лекции и с особенным успехом — для студентов-славистов — свои стихи для детей. Студенты в него просто влюбились, он с ними много болтал (его английский оказался совсем не плох) и катался на лодках.

Впрочем, очаровывал он всех, с кем встречался, — людей самых разных возрастов. В нем была прорва обаяния, прекрасное чувство юмора, и даже постоянная готовность играть роль клоуна. Очаровательная, слегка ироническая улыбка в эти дни не сходила с его лица».

По возвращении в Лондон Питер сопровождал Корней Ивановича, когда тот посещал Би-би-си (писатель умудрился выступить там трижды за один день!), затем переводил лекцию Чуковского в Лондонском университете. Вступительную речь перед началом произнесла тогда Элизабет Хилл, одна из первых преподавателей русского языка в послевоенной Англии, профессор Кембриджского университета. А Чуковский

снова читал свои стихи для детей — под бурные аплодисменты студентов.

В гостинице ему приходилось рьяно защищаться от назойливых визитеров. Он жаловался Питеру, что разные дамочки донимают его назойливыми требованиями о свидании.

Несколько дней Корнею Ивановичу пришлось провести безвыходно в номере, не выходя на улицу: он простудился. И в один из таких дней Питер принес ему на суд свою рукопись: учебник русского языка, над которым он только недавно закончил работу. Чуковский внимательно прочел рукопись, делая многочисленные пометки на полях, и остался очень доволен. Это было ему тем более интересно, что он сам в это время с увлечением работал над книгой о русском языке («Живой как жизнь»), готовя ее для второго издания. Уже позже, в Москве, он познакомил Нормана с группой видных специалистов по языку из Института русского языка. Это были Александр Александрович Реформатский и его ученики. Корней Иванович пригласил всех вместе к себе в Переделкино, когда в очередной раз Питер приехал в Москву. Он очень хвалил перед этими специалистами учебник, созданный англичанином. И Питер был рад и польщен.

Нынче этот учебник Нормана уже переведен чуть ли не на все европейские языки и стал незаменимым пособием для всех, кто преподает русский язык на Западе.

Когда Чуковский выздоровел, Питер пригласил его к себе домой. Дом Норманов расположен в Голдерс-Грин. Это как бы окраина Лондона, а вместе с тем район, считающийся фешенебельным, хотя внешне он таким совсем не выглядит.

Здесь Корней Иванович познакомился с женой Питера Натальей Семеновной и его тещей Татьяной Сергеевной.

Через окно кухни он увидел садик позади дома и

с любопытством пошел его осматривать. Я видела этот сад — он невелик, но замечательно уютен и красив, хотя Наташа считает, что он в запущенном состоянии. Тогда же, в 1962 году, увидев кучку мусора в дальнем углу сада, Чуковский почти обрадованно воскликнул:

— Ну вот, а это уж настоящий русский садик!

За ужином он рассказывал о своих двух давних поездках в Англию. В самом начале века, когда он влачил здесь полунищее существование, будучи корреспондентом «Одесских Новостей», и весной 1916 года, когда он приезжал с группой русских деятелей культуры (среди которых был писатель Алексей Толстой), — незадолго до начала февральской революции.

Положение русской армии было тогда ужасным. Но Ллойд Джордж отвел им для визита всего семь минут, рассказывал Корней Иванович. Потом их представили королю Георгу V. И повезли в порт для встречи с лордом Китченером, тогдашним военным министром Великобритании. Это было как раз перед посадкой Китченера на корабль, на котором он и погиб.

Он рассказывал еще и о том, как он был переводчиком писателя Герберта Уэллса, когда тот приезжал в советскую Россию, и о том, как знаменитый «Тараканище» навел на автора подозрение, будто он в сказке имел в виду Сталина, хотя произведение было написано Чуковским еще в дореволюционное время.

Норманы просили его что-нибудь прочесть из своих поэтических вещей. И он вдруг начал тоненьким высоким голосом читать «Муху-цокотуху». Это было очень смешно!

Он взял у Наташи книги ее отца С.-Л. Франка, чтобы Марина Николаевна (невестка Чуковского, сопровождавшая Корнея Ивановича в этой поездке) могла читать их ему перед сном. Потом, перед самым отъездом, возвращая книги, одну из них (это были «Этюды о Пушкине») Корней Иванович не захотел отдавать. Взял подмышку и сказал: «А эту я вам просто не отдам, вот и все, — возьму с собой!»

«В наших разговорах с ним, — рассказывает Питер Норман, возникла однажды тема непохожести его детей друг на друга: сын был, как известно, человеком достаточно комформистского поведенья, а дочь — неистовой воительницей против коммунистических властей. „Вот, — шутил Корней Иванович, — в зависимости от того, как повернутся у нас дела, меня и будет содержать в старости либо сын либо дочь...”

Иногда он даже жаловался, что дочь ведет себя слишком неосторожно, ее поведение с властями слишком безоглядно и опасно.

(Это был, напомню, еще год 1962-й. То ли еще предстояло в ближайшие годы, когда Людия Корнеевна открыто заняла боевые позиции! — И. К.).

«В гостинице они однажды поставили перед нами банку с икрой: „Угощайтесь! Будем есть ложками!” — Говорят, что икру выдавали в СССР отъезжающим за рубеж в Иностранной комиссии... Не знаю, правда ли это...

Чуковский доставлял настоящее удовольствие в общении уже самой своей манерой разговора. Удивительное обаяние привлекало симпатии молодых и старых к волшебству его личности.

Его прекрасная книга „От двух до пяти” свидетельствует, что он не только умел учить детей, но и сам успешно учился у них искусству получать удовольствие от самых простых вещей.

Это чувство радости жизни, любым ее дарам, буквально бурлило в 80-летнем писателе.

Перед отъездом на родину Корней Иванович был очень грустен. Когда мы ехали на машине через Лондон в аэропорт, он все время повторял убитым голосом: „Прощай, Блумсбери, прощай, Гайд-парк... Я больше никогда вас уже не увижу...”

Он положил свою руку поверх моей, и так мы проехали через весь город.

Потом, прощаясь, он говорил мне и Наташе:

— Приезжайте, приезжайте к нам!

— Ну что вы, Корней Иванович, — возражала ему

Наташа, — как мы можем приехать вместе? Меня никто не пустит: ведь я эмигрантка!

— Ничего! — отвечал Корней Иванович. — Правительства уходят и приходят, что-нибудь еще изменится к лучшему!

В аэропорту появились «советские» из посольства, с цветами. Когда взвесили багаж Корнея Ивановича, он оказался много больше нормы. И тогда культурный аташе посольства небрежно бросил через плечо, кивнув на англичан из Британского совета: „Ничего, заплатят!“ Это было неприятно слышать.

* * *

Вернусь однако к тому давнему дню 1959 года, когда мы встретились с Корнеем Ивановичем впервые. Распростившись с Чуковским, я все же зашел тогда на гачу Пастернака. Мне открыла дверь какая-то женщина, и я попросил ее передать поэту конверт со статьей Виктора Франка о „Докторе Живаго“.

А через день-другой я снова шел в Переделкино по той самой глиняной дороге от вокзала к писательскому поселку. Погода на этот раз была отличная, солнечная. Вскоре я заметил, что какой-то человек идет за мной следом. Когда я оборачивался, он сразу прятался в кусты. А потом снова шел за мной на некотором расстоянии. И я понял: это „тихарь“!»

Напомню читателю канву событий, развернувшихся в то время вокруг Бориса Леонидовича Пастернака. Роман «Доктор Живаго», отклоненный журналом «Новый мир» и упорно не издаваемый московским издательством, в ноябре 1957 года вышел в Италии в издательстве Фельтринелли. В следующем году роман перевели и издали уже во Франции и Англии. Реакция на эти издания в СССР была однозначной: развернулась шумная кампания травли писателя.

В этой обстановке Нобелевский комитет 1 ноября 1958 года присудил Пастернаку почетную премию. А Со-

юз советских писателей исключил его из своих рядов. 11 февраля 1959 года в одной из английских газет было опубликовано стихотворение Пастернака «Нобелевская премия». Следствием всего этого был вызов поэта «на ковер» уже к Генеральному прокурору СССР! Эпизод, описываемый здесь Норманом, происходил осенью того же года.

«На этот раз Пастернак оказался на даче. Он вышел ко мне и пригласил пройти в дом. Я узнал поэта сразу — по фотографиям. Он очень был красив тогда! Эти серебряные волосы...

— Вы находите меня сегодня в мрачном состоянии, — сказал он мне сразу. — Дело в том, что жена моя открыла конверт, который вы принесли, и прочла статью. Как вы понимаете, жене она понравиться не могла.

Я и сам понимал, конечно, что понравиться не могла: слишком много там было сказано о Ларе Ивинской!

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ МОЙ УИТМАН

ОЧЕРКИ О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ.

ИЗБРАННЫЕ ПЕРЕВОДЫ ИЗ «ЛИСТЫ В ТРАМВАЙ». ПРОЗА

Дорогой
Кейт, Кеннету
Норману
сердечный привет
Корней Чуковский
1967
28/IV 67

Автограф на титульном
листе книги
«Мой Уитмен»

Он повел меня в комнату, где было много стекла и много фотографий на стенах. Меблировка поразила меня своей предельной простотой.

Мы сели. Борис Леонидович сказал несколько добрых слов о статье моего шурина. (Уже позже я узнал, что текст этой статьи широко распространился по писательским дачам Перedelкина). Пастернак говорил о своей жизни, упомянул о пьесе, которую он тогда с увлечением писал, о своей переписке с несколькими женщинами, жившими, как я понял, в других странах. Жаловался, что эта переписка его очень утомляет, отнимающая время от творчества. Все это было для меня захватывающе интересно.

Потом он спросил меня:

— Могу ли я поговорить с вами по-английски?

— Конечно!

И мы немного поговорили. Его английский язык был очень странный. Странный не только фонетически, но и по построению фраз, по оборотам. Слушать его было забавно.

В какой-то момент нашего разговора я сказал:

— Борис Леонидович, а ведь за мной следили, когда я шел к вам...

Он, кажется, не слишком удивился и ответил философски:

— Бывает...

Он рассказал, что его теперь редко навещают соотечественники, понимая, что он „под надзором”. Вот только Святослав Рихтер приходит регулярно, не обращая ни на что внимания, — играет на рояле и беседует с хозяином...

На прощанье Борис Леонидович подарил мне свою фотографию и тепло надписал ее по-английски. Дата на фотографии — 25 сентября 1959 г. и помета: „Солнце, бабье лето”».

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО

Привезг Евтушенко в Великобританию пришелся на время его огромной популярности в России. Англичане встречали его с интересом — им казалось, что он вписывался в образ «рассерженного молодого человека», как называли тогда в Великобритании нескольких молодых литераторов, шумно заявивших о себе в английской литературе начала 60-х годов.

Интервьюеры и фотографы буквально осадили Евгения Александровича. Он встречался со многими английскими литераторами. Питер Норман, в частности, вспоминает:

«Когда я заранее договаривался с Элиотом о встрече, было специально оговорено, что ничто не будет обнародовано из того, что скажет Элиот.

Нас провели к поэту после довольно долгого ожидания. Элиот сидел за письменным столом в своем маленьком кабинете, где с трудом помещались три человека. Кабинет был заполнен до предела книгами и бумагами.

Беседа началась с того, что Евтушенко спросил у Элиота, каких поэтов тот особенно ценит — из старого поколения и из более молодого. Правда, что касается его самого,

добавил Евтушенко, то, когда он любит поэта, ему все равно, к какому поколению тот принадлежит.

Элиот, который в течение всей встречи говорил очень медленно, заметил, что, может быть, только Роберта Фроста теперь можно считать исключительным поэтом. Что же касается более молодого поколения, то вряд ли будет хорошо, сказал он, если он назовет какие-нибудь имена — ведь он, Элиот, не только поэт, но еще и издатель!

Далее Элиоту был задан вопрос о популярности поэзии в Великобритании. Евтушенко описал ее невероятную популярность в Советском Союзе, особенно в последние годы. Он добавил, в частности, что его собственная последняя книга была отпечатана тиражом в 100 тысяч экземпляров!

Похоже, что Элиот не был этим особенно потрясен.

Евгений Александрович рассказал своему собеседнику, что примерно десять поэм Элиота были очень известны в России еще в тридцатых годах, когда они были переведены. Особая известность выпала на долю поэмы «Полые люди».

И тут Евтушенко прочитал начало поэмы по-русски. Это звучало хорошо. Элиот наконец улыбнулся, но сказал, что «Полые люди» не принадлежат к числу его самых любимых произведений. Потому что, как он сказал, поэма была написана в период, когда он был слишком уж угнетен.

— У меня есть большая личная мечта, — сказал Евтушенко. — В Советском Союзе теперь люди празднуют «День поэзии», когда по всей стране поэты встречаются со своими читателя-

ми в книжных магазинах, на фабриках и предприятиях в обеденный перерыв, читают свои стихи, отвечают на вопросы, говорят о своих проблемах, о продаже книг. Может быть, стоило бы воплотить ту же идею в международном масштабе? Это можно было бы хорошо организовать. Советские поэты могли бы выступать в Англии, а английские читать свои стихи в России и других странах. Что думает о такой идее мистер Элиот?

Было очевидно, что Элиот не был воодушевлен горячей речью русского поэта. Он отвечал уклончиво. Наверное, лучше было бы придумать что-то более конкретное, — так он считал, не распространяясь более подробно.

Наконец Евтушенко сказал, что у него остался последний вопрос.

— Не может ли мистер Элиот дать какой-нибудь совет молодому поэту?

— Да, — сказал Элиот быстро. — Не курите так много, молодой человек!

Мне запомнилась и еще одна встреча русского поэта — на этот раз с писателем Кингсли Эмис.

Евтушенко захотел, чтобы Эмис сказал несколько слов о Чарльзе Сноу. Этого писателя тогда много переводили в Советском Союзе, и романы его пользовались известностью и признанием.

— Сэр Чарльз очень хороший человек, — ответил Эмис. — Он помог очень многим и мне тоже. Но его не понимают в вашей стране: ведь он очень плохой писатель! Его романы не имеют никакой глубины. Он может рисовать сцены из жизни, это правда, но это и

все! Кроме того, он помешан на проблеме власти. Опасность состоит в том, что он может ослабить движение против бюрократии, хотя он боролся против нее.

Евтушенко слушал внимательно, но не комментировал. Я не думаю, чтобы его собственное мнение о Сноу переменялось после этого разговора.

РУССКИЕ ВСТРЕЧИ ПИТЕРА НОРМАНА



Питер Норман в своем кабинете.
На каминной полке — фотографии русских писателей
с гарставенными надписями



Питер Норман, 1940-е годы

Питер и Наталья Норман
с внуком Фомой на кухне своего дома. 1998





Питер и Наталья Норман

Питер и Наталья Норман
у своего дома в Голдер - Грин (Лондон), 1998





Анна Ахматова

Исайя Берлин





А. Ахматова с А. Г. Каминской.
Оксфорд. 1965.

Отель «Президент»
(Рассел-сквер, Лондон),
где останавливалась Ахматова
в 1965 году

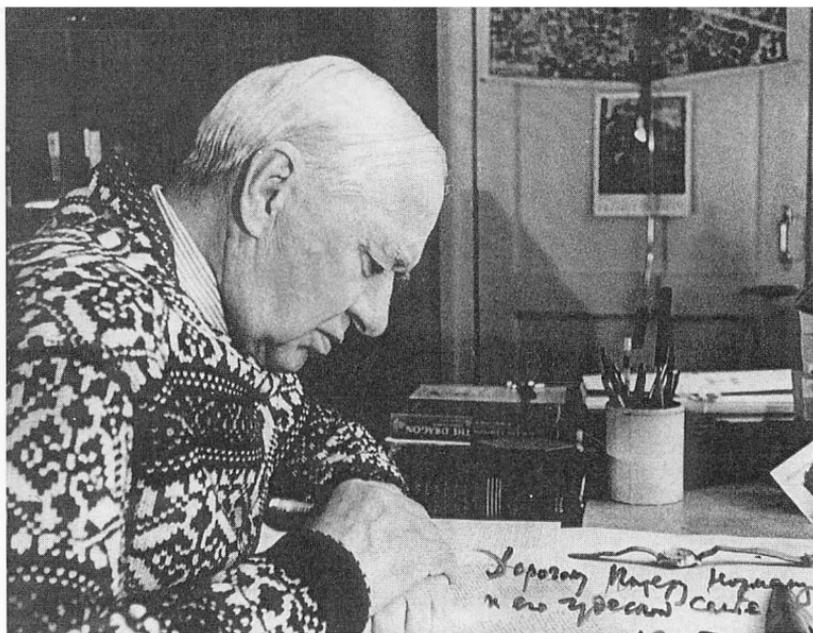




А. Ахматова на вокзале «Виктория». Слева — Аманда Хейт.
3 июня 1965 года

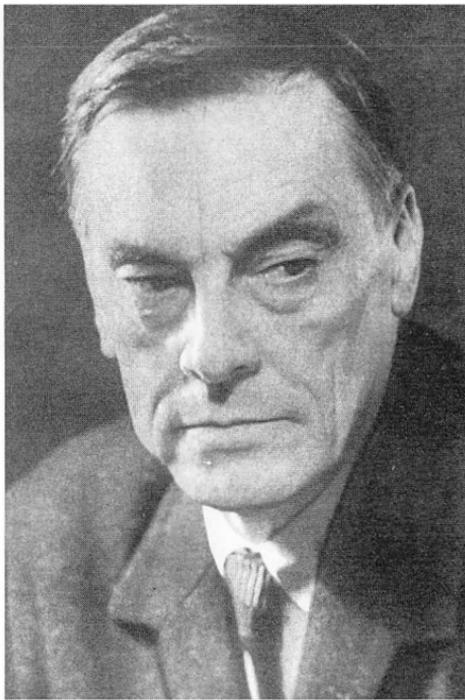
Питер Норман
и Евгений Евтушенко.
Лондон.
Апрель 1962 года





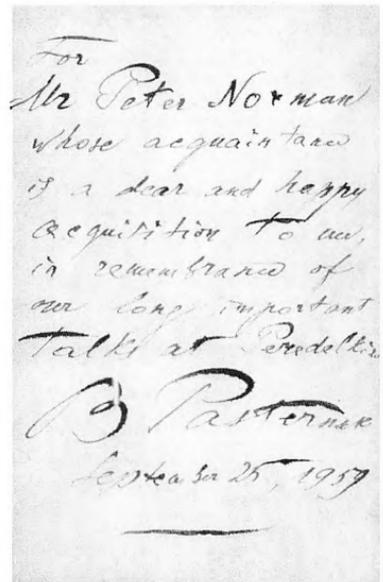
Корней Чуковский





Арсений Тарковский

Борис Пастернак



ВЛАДИМИР СОЛОУХИН

Когда Питеру поручали в Британском совете опекать кого-нибудь из прибывших в Лондон русских писателей, он должен был затем писать отчеты, — так сказать, «о проделанной работе». Увы, домашний архив слависта не приспособлен для быстрого нахождения нужных материалов. И только некоторые копии этих отчетов обнаружались, когда мы работали над воспоминаниями. Зато как богаты они подробностями!

Приведем в некотором сокращении этот отчет о посещении «туманного Альбиона» Владимиром Солоухиным.

Он приехал в Великобританию в апреле 1963 года и пробыл здесь около трех недель.

«Волна курчавых светлых волос, как у Дэвида Фроста, широкий курносый нос на простом крестьянском лице, большие голубые глаза и добрая сердечная улыбка — таким я увидел советского поэта и писателя Владимира Солоухина.

Во время его визита погода в Англии была совсем не благоприятной для туризма. Однако он никогда на это не жаловался; кажется, ему нравился даже дождь. Каждое утро он вставал очень рано, в семь часов утра, и еще до завтрака уходил в деревню или в парк, несмотря на сложную программу предстоящего дня».

— Программа пребывания писателя в Англии составляется на основании предложений Британского совета, присланных из Москвы, — поясняет мне Питер, — а также по собственным пожеланиям гостя уже после его приезда. С Солоухиным мы часто вместе выбирали маршрут.

Две поездки были устроены в Котсуолдс. Это очень красивые места. Стояли первые дни весны, и природа произвела на писателя большое впечатление. Первую остановку мы сделали в районе Эмберли, где жил поэт и писатель Лори Ли. Лори Ли был очень дружелюбен по отношению к своему гостю; позже состоялась приятнейшая встреча с разными людьми в местном пабе. Во время этой встречи ко всеобщему восторгу Солоухин прочел свои стихи, а потом прочел свои стихи Лори Ли и еще один молодой поэт. В это время же цвели крокусы, и жена одного фермера подарила Солоухину на память о встрече луковицы этого цветка.

Еще одна знаменательная встреча произошла в доме Джона Бетжамена. С ним у Солоухина возник самый близкий контакт — и это вполне понятно, потому что Бетжамен — поэт, который любил и прекрасно знал викторианское время. Солоухин познакомился со всей семьей Бетжамена, испытав на себе тепло их искреннего гостеприимства.

Утром миссис Бетжамен показала нам город, в котором они жили, — с доисторическими валунами ледникового периода. А во второй половине дня в тот же день Бетжамен повел нас по местным церквам. В этом он не сравним ни с кем как гид, и его энтузиазм и живость явно произвели большое впечатление на Солоухина. Многие из мыслей и настроений Бетжамена: его ужас перед модной современной архитектурой, перёд машинным развитием цивилизации XX века, его преклонение перед умирающим искусством прошлого и неприятие развращающего влияния телевизора. — все это находило самый горячий отклик у Солоухина.

Потом мы поехали в Шотландию и целый день провели в Эдинбурге. А затем путешествовали в окрестно-

стях еще два дня, посещая разные фермы. Приятный день прошел в Эбетсбери вблизи Эдинбурга: там после обеда мы посетили дом, где жил Вальтер Скотт, а затем и другие места, связанные с жизнью и творчеством знаменитого писателя. Как оказалось, Солоухин очень любил Скотта.

Во время нашей поездки разразилась сильная снежная буря, шел мокрый снег, но, судя по всему, это не мешало удовольствию нашего гостя.

Его особенно интересовала крестьянская работа. Он был поражен эффективностью британского фермерства и не раз проводил грустные сравнения с системой советских колхозов. Ребенком он был свидетелем трагических дней коллективизации. Он утверждал, что, не будь революции, столыпинские реформы могли бы принести большую пользу русскому земледелию. Теперь же многие беды на селе стали необратимыми. И даже просто в смысле человеческой природы. Он говорил, в частности:

«У нас крестьянин может смотреть в окно шесть месяцев кряду на какую-нибудь машину, которая ржавеет под дождем, но он не выйдет и не шевельнет пальцем, чтобы что-то сделать. И даже если вы теперь дадите ему инициативу и кусок собственной земли, ситуация уже не изменится: крестьянина отучили работать в общине. Этот процесс слишком далеко зашел. Чего можно ждать, если мужику платят всего три шиллинга в день? И положение все время только ухудшается. Крестьяне уходят из деревни, уезжают в города. Они, конечно, привязаны к земле, но пользуются каждым случаем, чтобы оставить колхозы. Я не знаю, какой из этого может быть выход. Я отчетливо вижу впереди кризис и не знаю, как его можно избежать».

Однажды во время поездки он захотел позвонить в Москву. Посреди поля стояла телефонная будка. «Вы можете позвонить прямо отсюда!» — сказал я писателю. Надо было видеть его изумление, когда оказалось, что и в самом деле он смог из этой будки спокойно поговорить со своими домашними.

Это были очень насыщенные две недели.

В Лондоне по его желанию мы посетили однажды Палату общин в здании парламента. Он слушал там дебаты по бюджету, видел премьер-министра и почти весь кабинет. На него произвела впечатление почти интимная атмосфера палаты общин, демократический процесс обсуждения и то обстоятельство, что буквально на следующий день все факты, упоминавшиеся там, опубликовали газеты.

Мы не раз потом обсуждали с ним проблемы государственного устройства Великобритании. Писатель размышлял о том, какую роль сыграли традиции и эволюционное развитие общества в формировании современной политической системы страны. Одной из самых великих завоеваний цивилизации ему представлялось равенство всех людей перед лицом закона.

Он был поражен тем что у нас нет внутренних паспортов.

— Но каким образом вы ловите жуликов? — изумленно спрашивал он меня. Свобода передвижения была одной из тем, которые его очень волновали.

— Как удивительно, — говорил он, — что вы можете просто купить билет в любую точку мира и поехать куда угодно!

Он совершенно не опасался встреч со старыми русскими эмигрантами из «первой волны» и с удовольствием провел один из вечеров в лондонском Пушкинском клубе. Он считал, что не должно быть никакого разрыва в русской культурной традиции. (Я заметил, что он все время употреблял слово «русский», избегая слова «советский»). С его точки зрения именно уничтожение старой русской интеллигенции обернулось большой трагедией для его страны.

Солоухин оказался в Лондоне, когда началась православная Пасхальная неделя. И он пошел на пасхальную службу в русскую церковь. Когда его спросили: «Удобно ли это для вас, ведь вы атеист?» писатель отвечал: «Конечно, я атеист, но я очень люблю русскую церковную музыку, и если бы я сейчас был в

России, обязательно пошел бы на службу, как я это делаю каждый год».

Отсутствие уважения к прошлому, говорил Солоухин, в России особенно заметно по отношению к русским древностям. Потери тут нельзя сосчитать. Он рассказал мне о своей страсти: разыскивать и собирать иконы, говорил, что чувствует себя одиноким чудаком, пытающимся сохранить никому не нужные ценности. Я запомнил его рассказы о том, как в результате нелегких поисков он находил старые книги в заброшенных домах и церквях, и иконы, которыми иногда были просто заколочены окна. Он процитировал однажды фразу, кажется, из книги Леонида Леонова: «Это все равно, что смотреть на собственную мать, которую разрезают и унижают».

В беседах у нас дома он угивил нас свободой, с которой он говорил о том, что монархическая форма управления Россией представляется ему наилучшей. Слышать это в те годы от советского человека мне еще не приходилось.

На одной из публичных встреч его спросили о молодом поколении в России: верят ли они на самом деле в коммунизм?

— Это очень трудный вопрос, — ответил он. — Многие да, а другие — нет. Скорее, они просто верят в лучшее будущее.

«Верит ли он сам в идеалы коммунизма?» — спросили его.

И тут Солоухин хитро улыбнулся:

— А вот на этот вопрос я отвечу вам только после шестой бутылки!

Подумав немного, он добавил:

— Есть разные возможности смотреть на коммунизм. Если вы христианин, то для вас существуют десять заповедей и если бы все соблюдали эти заповеди, можно было бы представить рай на земле. То же и с коммунизмом. Коммунизм это только идеал, а люди совсем не идеальны.

Он сказал еще, что, по его убеждению, в конце этого

века половина мира будет китайской. Он был в Китае. Там ему улыбались, с ним были вежливы, но за этим ничего не чувствовалось, люди были как машины. Зато тут, в Англии, сказал Солоухин, он разговаривает с людьми, не ощущая с их стороны никаких подозрений.

Позже, уже уезжая, он сказал в Британском совете, что главным результатом его посещения Англии стало убеждение, что английские люди очень симпатичны и их вполне можно люуубить! Это была приятная шутка...

АННА АХМАТОВА

«БУДКА»

Первая моя встреча с Анной Андреевной Ахматовой относится к позднему лету 1964 года. Я приехал тогда в Комарово под Ленинградом к своим русским грузьям. Очаровательная умница Антонина Николаевна Изергина — сотрудница Эрмитажа, вдова академика Орбели, — предложила мне помочь встретиться с Анной Андреевной, которая тогда жила в Комарове на летней гаче Лытфонда. Я мечтал об этой встрече давно. И особенно с момента, когда в Мюнхене вышел впервые отдельным изданием замечательный ее „Реквием” — это было осенью 1963 года. Вместе с моей студенткой Амандой Хейт, незадолго до того окончившей славянское отделение Лондонского университета и задумавшей докторскую работу по творчеству Ахматовой, я начал переводить стихи „Реквиема” на английский язык (теперь они опубликованы в книге А. Хейт об Анне Ахматовой).

В самом конце 1963 года Аманда сумела устроиться на работу в одну английскую семью, которая получила командировку в Москву, и она поехала с этой семьей в СССР, — ради русского языка и возможности собирать нужные для докторской работы материалы. Ей страшно повезло: она сумела не только познакомиться с самой Ахматовой, но даже завоевать ее расположение.

Изергина была давно знакома с Ахматовой. Правда, их отношения осложнялись некоторыми событиями уже

далекого прошлого: некогда между Пуниным и Изергиной был серьезный роман, и Ахматова об этом знала. Несмотря на это, Антонина Николаевна отправилась в „Будку” (как сама Анна Андреевна называла свой домик в Комарове на улице Осипенко) и договорилась о моем визите. Скорее всего, Ахматовой было тоже интересно увидеться с человеком, который был учителем Аманда, узнать от него, сможет ли молодая англичанка справиться с задуманным трудом.

Мы отправились вместе с Изергиной. У „Будки” я голжен был минут десять погождать, пока меня приняли. Затем я вошел один, Изергина отправилась восвояси.

Ахматова сидела — как в известной строке Мандельштама — вполоборота ко входу („Вполоборота, о печаль...”), так что я сразу увидел ее знаменитый горбоносый профиль. Плечи Анны Андреевны, как и следовало ожидать, покрывала шаль. На столе стояла ваза с цветами. В маленькой комнате было полно книг и бумаг. Поздоровавшись, Ахматова плотно замолчала, а я начал говорить. Я говорил безостановочно довольно долго, представляя самого себя, рассказывая об Аманде, а также о впечатлении, произведенном на меня „Реквиемом”. Меня предупредили об этой ахматовской особенности — долго молчать при первой встрече — особенности, которая многих, говорят, повергала в шок. И я говорил и говорил. А потом, остановившись, сказал:

— Боюсь, я вас утомил, Анна Андреевна. Наверное, сейчас мне лучше уйти?

Тут она оживилась и быстро ответила:

— Ну нет, так легко вы от меня не отделяетесь!

И я остался и пробыл в „Будке” часа два подряд.

Ахматова захотела послушать мои переводы из „Реквиема”, она уже знала о них от Аманда. Ее английский оставлял желать лучшего, но все же она могла оценить сделанное и одобрила нашу с Амандой работу. О чем и написала прямо на тексте переводов: „Я согласна здесь с каждым словом”. Однако она считала, что необходимо еще показать эти переводы Лидии Корнеевне Чуковской.

Красота, которой некогда Анна Андреевна пленяла современников, конечно, уже сильно поблекла, но все в ней дышало царственностью. Голова львицы, серые глаза полуприкрыты тяжелыми веками, черты лица показались мне несколько восточными (я знал, что в ее жилах течет татарская кровь). Но когда она двигалась — как королева — и говорила своим глубоким, удивительно приятным голосом, очарование было несомненным. Впрочем, и молчала она как-то по-королевски. Но если сказать, что же было главным в том первом впечатлении, которое она на меня произвела, это — ощущение большой личности. И с тех пор это впечатление не изменилось — с одной, может быть, поправкой: кажущаяся поначалу суровость ее характера и величественная манера держаться исчезли при более близком знакомстве, стерлись. А знакомство наше, смею думать, скоро перешло в дружку.

Мы виделись в то лето не однажды. Легко было заметить, что Анна Андреевна была откровенно счастлива, когда читала свои стихи, и слушать ее было истинным наслаждением. А я готов был слушать без конца.

Еще в первое мое посещение „Будки” в ней появилась Нина Антоновна Ольшевская — подруга Анны Андреевны, приехавшая в Комарово некоторое время назад из Москвы погостить у Ахматовой. Видно было, что и ей интересно познакомиться со мной, — я думаю, это Аманда мне помогла своими рассказами. Когда я ушел в тот день, Ольшевская вышла со мной вместе, и мы еще немного поговорили друг с другом, гуляя. Нина Антоновна пригласила меня навещать ее дом на Ордынке в те дни, когда я бываю в Москве.

Я воспользовался этим приглашением и несколько раз потом бывал у Ардовых, — увы, Анны Андреевны тогда уже не было в живых. Мне показали маленькую комнатку в ардовской квартире, где обычно останавливалась Ахматова, наезжая в Москву; хозяева дома рассказывали, как в годы сталинского режима Анна Андреевна не решалась записывать свои стихи и как, чтобы

сохранить тексты, их выучивали наизусть ее друзья. С Ниной Антоновной я даже подружился, — она была тогда уже тяжело больна.

Сам хозяин дома мне не слишком нравился. Однажды он вручил мне свои рассказы, надеясь на перевод и издание их в Англии. Грешен, я этого не сделал, у меня как-то не возникло желания этим заниматься».

(Добавим к этому рассказу Питера Нормана важный штрих. Теперь уже изданы записные книжки Ахматовой. И всякий может прочесть лаконичную запись, занесенную поэтессой в свою тетрадку в один из дней этого лета: «Самый красивый англичанин о Р»...

«Самый красивый» — это и был Питер Норман. И говорил он, конечно, о «Реквиеме!» — *И. К.*)

АНГЛИЯ

«Прошло меньше года после нашей первой встречи с Анной Андреевной, когда весной 1965 года стало известно, что Оксфордский университет решил присудить Ахматовой почетное звание доктора литературы „honoris causa”.

Торжества были назначены на июнь. И вскоре мне стало известно, что по просьбе самой Ахматовой, Британский совет поручает мне быть ее личным переводчиком и „опекуном”.

Анна Андреевна ехала из России поездом. Аманда выехала ей навстречу, чтобы встретить в Дувре. А я встречал их уже в Лондоне на вокзале Виктория. Ахматова приехала в сопровождении своей внучки (так она ее называла, — хотя, строго говоря, это — внучка Н. Н. Пунина) юной Ани Каминской. Позже Аня рассказывала мне, что, когда поезд приближался к платформе, Анна Андреевна, увидев меня в окно вагона на платформе среди встречающих, обрадованно сказала ей: „А вот и наш Питер!”

Я уже был „наш”!».

В своей книге об Ахматовой Аманга Хейт рассказывает, какая толпа встречающих ождала русскую поэтессу на платформе вокзала. «Силы ее были на исходе, но с королевским величием она прошествовала по перрону под вспышками фотоаппаратов».

Это было 2 июня 1965 года.

Поселили их в гостинице «Президент» на Рассел-сквер, в Блумсбери. Гостиница была американского стиля, не из шикарных, потому что выбирать пришлось из тех гостиниц, которые были неподалеку от Лондонского университета: ведь Питер тогда преподавал, и его занятий со студентами никто не отменял. «Это был еще разгар семестра, — говорит Питер, — так что я должен был продолжать преподавание. Мой тогдашний шеф не слишком-то любил поэзию и не собирался делать мне какие-нибудь поблажки. Потому-то необходимо было выбрать отель вблизи университета: я поселился там же. Впрочем, Анна Андреевна осталась вполне довольна своим пристанищем, и, когда позже ей предложили переехать в более комфортабельный отель, она отказалась».

Вскоре выяснилось, что в Лондон, а потом и в Оксфорд, понаехало множество русских. То были эмигранты, надеявшиеся поздравить Анну Андреевну, повидать ее, обменяться с ней хотя бы несколькими словами или просто поздороваться. Понять это легко: ведь она была кумиром их молодости и присуждение ей почетного звания воспринималось как празднество для всех русских, оказавшихся в зарубежье. Но англичане явно не ожидали такого размаха популярности почетного гостя!

Русские приехали не только со всех концов Великобритании, но и из других стран — из Франции и даже из Америки. В лондонском и в оксфордском отелях Питеру и Аманге пришлось взять на себя упорядочение этого потока, установление очередности. («Было совсем как на приеме у врача: „следующий!“») — шутит Питер). Все желавшие личной встречи толпились

в нижнем этаже отеля, и повсюду была слышна русская речь.

Похоже, что не только для англичан, но и для самой Анны Андреевны такой наплыв ее поклонников был все-таки неожиданностью. Она, конечно, уставала от вереницы людей, проходивших перед ней в эти дни, но одновременно была растрогана и счастлива. Потом она шутила, что, если бы знать обо всем заранее, надо было бы изготовить собственную куклу-чучело, нарядить ее в красно-серую почетную мантию и посадить в холле отеля, — чтобы всех «принять», никого не обижая.

(Уже после смерти Ахматовой из Москвы Питеру прислали ахматовский текст, который она, по всей видимости, предназначала для надписи на книге «Бег времени», вышедшей незадолго до кончины поэта. Текст надписи знаменателен: «Моему милому Питеру, который вынес в июне 1965 даже лондонскую ахматовку — Благодарная Анна, 23 февраля 1966 Москва».

«Ахматовкой», как известно, в кругу друзей Анны Андреевны называли толчею гостей, обычно навещавших ее, когда она приезжала погостить из Ленинграда в Москву.

Одним из первых прибыл в Лондон из Оксфорда для встречи с Ахматовой известный английский историк и философ Исайя Берлин. Это был, конечно, один из наиболее желанных гостей для Анны Андреевны. Теперь уже достаточно известна история той давней их встречи в 1945 году в Ленинграде, в ахматовской комнате Фонтанного Дома, которая стала толчком к созданию двух прекрасных ахматовских циклов «Синque» и «Шиповник цветет». К моменту второй встречи — в Лондоне, через 20 лет! — Исайя Берлин уже знал эти стихи. Во время свидания в отеле «Президент» они, по-видимому, и договорились о том, что, как только Анна Андреевна приедет из Лондона в Оксфорд, она проведет первое время — до начала церемонии — в доме Берлина.

Еще одним посетителем Ахматовой в лондонской гостинице оказался известный английский поэт Стивен Спендер. Они виделись несколько раз, у них явно получился контакт. Питер запомнил любопытный эпизод их первой встречи. Анна Андреевна попросила Спендера почитать ей его стихи, и тут выяснилось, что Спендер ни одного не знал наизусть!

— Не могу, не помню, — сказал он, — это русская привычка — читать собственные стихи, не английская!

Ахматова была изумлена. Спендер же, со своей стороны, был приятно поражен тем, что его поэзию знали в России, и, в частности, ее знал и ценил молодой друг Ахматовой поэт Иосиф Бродский. В это время Бродский отбывал ссылку на севере от Ленинграда. А спустя несколько лет, будучи в Англии, Бродский остановился как раз у Спендера, и Норман слышал от Спендера жалобу на то, что, когда гостит Бродский, в его доме не закрывается дверь.

Питер стал свидетелем и другой важной встречи Анны Андреевны — с ее давней приятельницей Саломеей Андрониковой-Гальперн, с той самой «красавицей тринадцатого года», воспетой в ахматовских стихах. Давние подруги со слезами бросились друг другу в объятия. Позже Анна Андреевна, сопровождаемая Амандой, навестила Саломею в ее доме в Челси.

Дважды — в Лондоне и в Оксфорде — встретился с Анной Андреевной и шурином Питера, литературный критик Виктор Франк. Побывала в гостях у Ахматовой и Мария Игнатьева Бугберг, русская женщина бурной биографии, ставшая известной под именем «Железной леди» после выхода в свет посвященной ей книги Нины Берберовой...

ОКСФОРД

Приехав в Оксфорд, первые день-два Ахматова провела в доме Исая Берлина. Хотя раньше она говорила, кажется, своим грузьям, что не хочет с ним видеться, — после его женитьбы. Что повлияло на перемену ее реше-

ния — неизвестно, а впрочем, может быть, все это были только пересуды. Предложение пожить некоторое время у Берлина могло быть, в частности, продиктовано стремлением ее друга уберечь гостью до начала торжеств от нового наплыва публики, жаждавшей ее видеть.

Так или иначе, именно в доме Берлина ее помнит Дмитрий Дмитриевич Оболенский — известный профессор-византолог и составитель превосходной антологии русской поэзии в «Пенгвин букс» (она вышла в Англии лет тридцать назад). Оболенский пришел в тот день к Берлину с женой, и помнит, как все вместе они нетерпеливо ждали приезда Ахматовой.

У Берлинов Анне Андреевне была отведена комната с большим Распятием на стене — в знак уважения к ее религиозности.

Впрочем, утверждение о том, что Анна Андреевна провела в доме Берлиных день-другой, решительно опровергает Анна Генриховна Каминская. «Нам было категорически запрещено останавливаться в частных домах, — говорит она. — Да, мы были у Берлина не однажды и провели вместе много времени, и комната для отдыха Анны Андреевны была в самом деле предоставлена, но остановились мы с самого начала в отведенном нам официально номере оксфордской гостиницы „Рэндольф“. Оболенский может просто не знать этого...»

Поздней осенью 1997 года, всего несколько недель спустя после кончины Исаи Берлина, я спрашивала у Дмитрия Дмитриевича:

— Правда ли, что Берлин избегал говорить о своих отношениях с Ахматовой? Правда ли, что если и отвечал на вопросы, то очень уклончиво и неохотно?

— Смотря по обстоятельствам, — отвечал Оболенский, — и смотря с кем шла беседа. Со мной он говорил на эту тему не однажды. Говорил, в частности, что уже давно знал о том, что в ахматовском цикле «Cinque» речь идет именно о нем. Но, с другой стороны, он любил повторять, что Ахматова слишком романтизировала их отношения, и даже гиперболизировала, когда, например,

утверждала, что именно из-за их встречи с 1946 года началась «холодная война».

— Что же, — спрашиваю я у Оболенского, — для Берлина это была тогда интересная беседа — и только?

— Нет, больше, больше! Это его очень волновало...

— А искренне ли, как вы думаете, Дмитрий Дмитриевич, Берлин отрекся в известном разговоре с Ахматовой от своего участия в присвоении Анне Андреевне почетного звания?

— И да, и нет. Несомненно, это он назвал ее имя, когда весной 1965 года в очередной раз специальный университетский комитет собрался для выдвижения новых кандидатур. Но далее он уже не вмешивался — это не принято, да и невозможно. И не так уж редки случаи, когда как раз на последующих этапах баллотировки проваливались самые неожиданные кандидатуры — например, Маргарет Тэтчер. Так, что инициатива была его, Берлина, но окончательное решение принято было совершенно независимо.

ЦЕРЕМОНИЯ В ШЕЛДОНИАНЕ

В Оксфорд Питер смог приехать только к началу церемонии, состоявшейся в субботу 5 июня. К этому времени здание Шелдониана было уже отреставрировано, и внутреннее его убранство сверкало всем своим великолепием.

Ахматова вошла в зал, опираясь на руку своей молодой спутницы, уже одетая по традиции в серо-красную мантию. Она держалась с присущим ей величественным достоинством, которое в эти минуты было более чем кстати. Вице-канцлер спустился навстречу русской поэтессе и провел ее к месту, где она могла сесть. Это было, вообще говоря, отступлением от принятых правил: обычно во время церемонии главные герои стоят.

В торжественной речи вице-канцлер назвал русскую поэтессу второй Сафо и интеллектуально утонченной

женщиной, которая являет собой прошлое, утешает в настоящем и гарует надежду потомкам.

Круглый зал шелдонианского театра, где ряды амфитеатра поднимаются ввысь и вместе с ярусами вмещают несколько сот человек, сотрясаясь от аплодисментов. В этот же день почетные звания доктора литературы были присуждены еще трем другим лицам — итальянскому литературоведу Джанфранко Контини и англичанам Джеффри Кейнсу и Зигфриду Сасуну.

В отеле «Рэнгольф», — в том самом отеле, где три года назад останавливался и Корней Иванович Чуковский, — комнаты Ахматовой были буквально завалены цветами. И снова были толпы жажущих поговорить или хотя бы издали взглянуть на виновницу торжества. Наташа Норман с матерью и братом тоже приехали в Оксфорд и присутствовали на церемонии. Теперь они всей семьей получили приглашение Ахматовой на «аудиенцию» в ее гостиничном номере и смогли поздравить ее лично. Эту встречу хорошо описал потом в своих воспоминаниях Виктор Франк.

Тогда же пришли к Ахматовой с поздравлениями, среди прочих, и известный в русской эмиграции литератор Глеб Струве, и художник Юрий Анненков, некогда создавший прекрасный портрет Ахматовой...

Пришел, пересиливая страх перед встречей, и тот, кого Анна Андреевна так хотела увидеть, — Борис Анреп, покинувший Россию в первые дни революции, агрегат многих лирических ее стихотворений. Он пришел, но, увидев толпы жажущих приема, не захотел становиться в очередь. Попросил Глеба Струве передать Анне Андреевне его привет и поздравления — и ушел. Известно, впрочем, что они все же увиделись, — через несколько дней, в Париже.

Прислал поздравительную телеграмму Ахматовой и поэт Андрей Вознесенский — из Лондона. В Оксфорд он не приехал — может быть потому, что туристам из советской России для этого требовалось специальное приглашение...

А. Г. Каминская сообщает грамматические подробности торжеств в Оксфорде. Оказывается, у Ахматовой случилось нечто вроде сердечного приступа в тот самый момент, когда, уже облаченная в мантию, она гордо пересекала двор на подходе к зданию Шелдониана, опираясь на руку молодой своей спутницы. Обе постарались скрыть от окружающих передачу таблетки валлидола, которую Анна Андреевна незаметно положила себе в рот. «Иду, иду!» — тихо говорила она Ане в ответ на ее обеспокоенные взгляды.

Вспомним, что меньше года прошло с того момента до кончины Ахматовой!

Вигел ли Ахматову в те дни в Оксфорде Гарри Шукман? Тот самый дотошный оксфордский студент, который в 1954 году задавал Ахматовой свои бестактные и опасные вопросы в Ленинграде, приехав с группой английских студентов? Он и сейчас еще живет в Оксфорде, стал известным переводчиком...

Из Оксфорда в Лондон Ахматова вернулась сильно уставшей. И Аня сказала Питеру, что хорошо было бы показать Анну Андреевну врачу, проверить сердце. «У нас был знакомый врач, очаровательный старый поляк, очень интеллигентный, и он неплохо говорил по-русски, — рассказывает Наташа. — Он был рад случаю познакомиться со знаменитой русской поэтессой». В эти дни все лондонские газеты публиковали материалы об Ахматовой, интервью с ней и ее фотографии в почетной мантии. И мы привезли Анну Андреевну на прием. Осмотрев ее, врач выписал необходимые лекарства. Его диагноз был — водянка, и он считал, что Ахматовой нужно соответствующее лечение.

Между тем буквально на следующий день 10 июня состоялся большой торжественный прием в Апслейхауз — то есть в доме-музее герцога Веллингтона. Этот великолепный дом, расположенный в самом центре города у Гайд-парка, называют в Лондоне «дом номер один». Сначала Ахматова сопротивлялась, — она не

желала никакого приема. Но потом переменяла решение. И в конце концов осталась очень довольна. Приглашенных оказалось очень много, вечер получился памятным.

В какой-то момент, когда Анна Андреевна величественно проплывала мимо Наташи Норман, та спросила:

— Как вы себя чувствуете, Анна Андреевна?

— Благодарю вас, прекрасно, — ответила Ахматова, не поворачивая головы. Так, как если бы этот вопрос был абсолютно нелеп, хотя только накануне они посещали врача!

Питер вел Ахматову под руку. Он сказал ей:

— Знаете, Анна Андреевна, я чувствую себя почти что членом вашей семьи...

Ахматова приостановилась, взглянула на него и произнесла в своей авторитетно замедленной манере:

— Это — хорошо — сказано!

ГОЛДЕРС-ГРИН

Ахматова выразила желание побывать в доме Норманов, и в один из дней Питер привез ее вместе с Аней Каминской к себе.

Ужин прошел в узком семейном кругу — супруги Норманы и Татьяна Сергеевна, теща Питера. Наташа Норман, женщина энергичная и совсем не робкая, признается, что при Анне Андреевне она чувствовала себя не слишком комфортно.

— Я ее просто побаивалась, — говорит она, — больше слушала и только задавала вопросы.

Еще знаменательнее было то, что явно притихла при Ахматовой Татьяна Сергеевна, мать Наташи, не привыкшая терять уверенности в себе ни при каких обстоятельствах.

Впрочем, поначалу Питер и Анна Андреевна провели время наедине за беседой в кабинете Нормана — просторной комнате с многочисленными книжными полками вдоль стен и красивым камином. Я застала камин уже бездействующим — в Лондоне каминное отопление

давно запрещено из-за смога, теперь всюду используется электричество. И потому надкаминная полка в кабинете Нормана уставлена фотографиями: в большинстве своем это русские литераторы, с которыми судьба сво-дила хозяина дома).

Сидя в удобном кресле возле письменного стола, Ахматова призналась Питеру, что происходящее ей все еще представляется сном. «Мне все время кажется: сейчас я проснусь и пойму, что ни Лондона, ни Биг Бена я не видела, все это мне только приснилось...»

Питер показал ей свои книги, среди которых были первые издания поэтических сборников Николая Гумилева, Михаила Кузмина, Марины Цветаевой и, конечно, ее, ахматовские: «Четки», «Белая стая», «Подорожник». Анна Андреевна с удовольствием их надписывала.

Благодаря этим надписям можно назвать точно день визита Анны Андреевны в дом Норманов — 17 июня 1965 года.

Но мюнхенское издание «Реквиема» она вежливо, но твердо подписать отказалась: это тогда все еще было небезопасно. Она вынуждена была сделать вид, что не одобряет зарубежных изданий. Вслух она обычно критиковала эти как бы нелегальные публикации ее стихов на Западе, — но невооруженным глазом было видно, что в глубине души она была очень довольна этим обстоятельством.

Тут в кабинете Питера Анна Андреевна снова читала свои стихи. Еще раньше она начитала весь «Реквием» на магнитофон и теперь подарила пленку хозяину дома. Слава Богу, эта запись сохранилась. Внук Питера Фома (так по-русски зовут здесь молодого Томаса, который, кстати сказать, отлично понимает по-русски и только говорит неуверенно), скопировал ее по моей просьбе. Теперь эта запись будет храниться в петербургском музее Ахматовой в Фонтанном Доме.

В маленькой уютной гостиной дома в Голдгерс-Грин во время ужина речь зашла о войне и блокаде Ленинграда. Татьяна Сергеевна спросила: «Почему, Анна

Андреевна, Вы говорите „Ленинград”, а не „Петербург”?» Ответ прозвучал с почти жесткой интонацией: «Осада Ленинграда останется в истории осадой Ленинграда, а не Петербурга!» И Татьяна Сергеевна совсем присмирела.

Но вообще Ахматова охотно отвечала на вопросы: об обстоятельствах своей жизни, о поэтах-современниках. Она хвалила поэтическую молодежь в СССР, называя ее «золотым поколением» и имея в виду прежде всего плеяду тех молодых поэтов, которые постоянно бывали у нее в Комарове. Она очень тяжело переживала ссылку особенно ценимого ею поэта Иосифа Бродского — суд, обвинивший его в «тунеядстве», состоялся в начале того же 1965 года.

Самым значительным поэтом современности после смерти Пастернака она считала Арсения Тарковского. Но с наибольшей нежностью говорила о Мандельштаме. По ее мнению, именно его справедливее всего называть лучшим русским поэтом двадцатого века.

Иные ее характеристики были резки. Так, последнюю подругу Пастернака Ивинскую она назвала простой преступницей, о Федине сказала, что он давно уже перестал существовать в литературе, о Вознесенском не захотела и говорить, безнадежно махнув рукой, Евтушенко назвала политическим маралой. Когда Норман рассказал ей о визите в Англию Солоухина, она отозвалась: «Эти люди резко меняются, как только попадают за границу».

Рассказывала она и о Алексее Суркове — своем злом гении и добром ангеле одновременно. В самом деле, поэт Сурков, занимавший в эти годы пост секретаря Всесоюзной организации советских писателей, был редактором нескольких ее книг, вышедших в последние годы, и в определенном смысле покровительствовал ей в «верхах». Ахматова не сомневалась, что он имел непосредственные связи с НКВД, но именно поэтому, говорила она, его покровительство многому помогало, в том числе ее поездкам за рубеж (в конце 1964 года она побывала, как известно, в Италии, где получила литературную премию Таормина). Она утверждала, что Сурков с восторгом относился к ее поэзии и знал наизусть ее

стихи. В подтверждение этого Анна Андреевна вспоминала, как однажды он напомнил ей ее же собственные строфы, которые она сама в тот момент забыла.

Она рассказала еще, как за несколько дней до отъезда в Великобританию пришел к ней домой тогдашний секретарь Союза писателей в Ленинграде. «Я знаю, я уверен, Анна Андреевна, — сказал он, — что Вы не сделаете там ничего антисоветского — и все-таки будьте осторожны». У него с собой был журнал «Грани» (опубликованный в конце 1964 года на своих страницах ахматовский «Реквием»), и он сказал, что ходили слухи, будто эта публикация — результат того, что в Италии Ахматова встречалась с редакторами журнала. На что Анна Андреевна возразила с яростью: «И откуда же, интересно, пошли эти слухи?». Ее посетитель сказал еще — между прочим и как бы не всерьез: «Вы ведь не собираетесь оставаться в Англии, правда?» Ахматова сочла эти слова своего рода предупреждением...

В какой-то момент уже после ужина Аня Каминская попросила у Наташи сердечные капли для Анны Андреевны. Когда рюмка с лекарством была принесена, Ахматова произнесла очень серьезно, взяв ее в руки:

— Это — водка?

— Нет, что Вы, Анна Андреевна!

— Жаль! — последовал ответ.

Рассказывая, Питер превосходно передает ахматовские веские интонации, ее густой низкий голос, в котором так часто звучала не слишком завуалированная шутка.

«Из Лондона мы еще совершили поездку в Стрэтфорд, к шекспировским местам. По дороге смотрели английские деревни. Останавливались в знаменитом старинном замке Уорик, где для почетной госты специально открыли сады замка. Потом мы заехали в Ковентри — промышленный город на севере Стрэтфорда; во время бомбежек этот город был разрушен до основания, включая прекрасный средневековый собор. Его развалины до сих пор сохранены жителями города как память об ужасах войны.

Ахматова редко выходила из машины — ей было это тяжело...»

Дважды за время пребывания в Великобритании Аню Каминскую вызывал к себе культурный атташе советского посольства. Он желал знать, что и как происходит, потому что Ахматова совершенно не хотела иметь контактов с официальными советскими властями в Лондоне. И те почти ничего не знали, как она проводит время в Англии. Всякий раз перед поездкой в посольство Аня советовалась с Питером: они вместе намечали, что и как там надо говорить.

(Сегодня А. Г. Каминская вносит и еще одну существенную поправку в рассказ о лондонско-оксфордских торжествах Ахматовой. В самом деле, они выглядят гораздо менее пышно и радостно, если присоединить к рассказу тему постоянной слежки со стороны сотрудников советских служб в Великобритании. Слежки, которую, утверждает Каминская, нельзя было не заметить; она отравляла радость пребывания русского поэта на земле Байрона и Шекспира.)

Рано или поздно — Питер не может припомнить точно дату — на пороге дома Норманов в Голдерс-Грин появилась Аманда Хейт — с самоваром на плече.

Это был подарок Ахматовой. За переводы ее стихов? За помощь в поездке? Или просто — как знак искренней симпатии?

Так или иначе теперь этот замечательный подарок украшает кабинет хозяина дома. И даже для неискушенных сразу ясно: в этом доме прочно поселился русский дух и русская культура...

Когда в марте 1966 года Анна Андреевна скончалась, Аня Каминская сразу же позвонила Питеру по телефону. И он совсем было собрался поехать на похороны. Но советское консульство в последнюю минуту вдруг отказало ему в визе.

АРСЕНИЙ ТАРКОВСКИЙ

«**С** Арсением Тарковским нас познакомил один славный молодой геолог Юрий Диков. Он хорошо знал Арсения Александровича и привел меня к нему домой — поэт жил тогда вблизи станции метро «Аэропорт».

Мы сразу заговорили о поэзии и музыке. У Тарковского оказалась замечательная коллекция грампластинок и каталог, куда он педантично заносил новые поступления. Арсений (мы почти сразу стали звать друг друга просто по имени) был страстным поклонником и ценителем классической музыки. Однажды он очень огорчился из-за того, что на пластинке, которую я ему привез, оказалась царапина. Это я был виноват: дал на время пластинку одной моей знакомой в Москве — прослушать, а знакомая оказалась не слишком аккуратной. Тарковский же был аккуратен невероятно, всегда перед прослушиванием вытирал с пластинки пыль, потом бережно укладывал пластинку обратно в конверт...

Мы очень быстро прониклись взаимной симпатией друг к другу. Я могу так говорить, потому что у меня сохранились многие его книги и фотографии с надписями, и они хорошо подтверждают нашу сердечную расположенность друг к другу. Он был прост и обаятелен. И он мог часами читать наизусть стихи — память у него была прекрасная. А для меня это были счастливейшие минуты! Голос его отличался каким-то особым благородством. И память была удивительной. Кроме

собственных стихов он читал еще и свои переводы с языков республик, входивших тогда в СССР.

Тонкая и глубокая поэзия Тарковского мне очень нравилась, и я с удовольствием стал переводить стихи Арсения на английский. Перевел около двадцати стихотворений (теперь они изданы в Великобритании отдельной книжкой). И прочел автору. Мне кажется, переводы мои ему понравились.

После первой встречи я уже в каждый приезд в Москву обязательно навещал Тарковского. Дома у него было очень уютно. Невероятное количество книг поражало воображение... Иногда мы вместе ездили куда-нибудь. Например, в Коломенское. Арсений и его жена Татьяна Александровна очень любили этот прекрасный древнерусский ансамбль, стоящий высоко над излучиной Москва-реки.

Жена поэта была переводчицей с английского (она перевела на русский, в частности, романы Джейн Остин) и время от времени я посылал или привозил ей английские книги для перевода.

В 1968 году Тарковский приехал вместе с Татьяной Александровной в Лондон в составе небольшой писательской делегации. В числе приехавших был, помнится, замечательный переводчик Вильгельм Левик. Поселили их в гостинице, но Арсений Александрович избегал быть вместе с остальной компанией. Он много времени проводил с нами, мы вместе гуляли по Лондону пешком и ездили на машине, знакомя поэта со всеми нашими достопримечательностями.

Тарковский вел себя очень осторожно. Я заметил, что он никогда не расставался со своим портфелем, остерегаясь оставлять его в номере гостиницы..

Купив в Англии несколько книг, которые было не просто провезти в Россию, он рассовывал эти книги по всем своим карманам, надеясь, что, поскольку он все-таки известный писатель, его не будут лично досматривать на таможне. И при всей осторожности он все же взял с собой книгу С.Л. Франка, отца Наташи, спрятав ее куда-то в надежное место. Слава Богу, пронесло!

У нас в доме они просидели однажды с женой до середины ночи. Арсений снова много читал своих стихов. Я записал его на магнитофон — увы, то был магнитофон старого образца: такие пленки теперь сложно прослушивать...

Не помню точно, но, может быть, именно тогда я услышал от него потрясающую историю о том, как его однажды перепугал неожиданный телефонный звонок из Кремля. Ему сообщили, что сейчас за ним придет машина, дабы отвезти его в апартаменты Кремля. „Собирайтесь, мы приедем за вами через полчаса!” Дело было еще при жизни „Велцкого Вождя”. Конечно, он поехал, и там выяснилось, что Арсеню Александровичу „оказана большая честь”: он должен перевести грузинские стихи товарища Сталина. Тарковский обмер, но, естественно, не смог ничего возразить. Деньги были вручены вперед, спорить и в этом случае было невозможно.

Дома он вытащил тексты с подстрочниками, прочел и удостоверился в бездарном сюнтяйстве сочинителя. Отложил папку в сторону и погрузился в отчаяние. „Мало того, — говорил мне Арсений, — что они хотят, чтобы мы о них писали, они еще хотят, чтобы мы их обожали!” К счастью, спустя недели две из Кремля снова позвонили по телефону. Папку велели вернуть обратно: „Товарищ Сталин раздумал”.

В ту встречу в Лондоне Арсений много жаловался. Похоже, что ему просто хотелось выговориться. Он говорил:

— Вам это трудно себе представить, но вокруг нас просто бесы. Ведь вот я верующий человек, но если бы я пошел в церковь, на следующий же день об этом бы гудел весь Союз писателей!»

С началом перестройки Питер мог ездить в Россию уже вместе с женой. До того это было невозможно: ведь она была эмигранткой. Никому не было дела до того, что увезли ее из России родители совсем маленькой девочкой. Теперь Норманы уже вдвоем побывали у Тар-

ковских дома. А в следующий их приезд — в 1992 году — Тарковский был уже тяжело болен и вместе с женой жил в Доме кинематографистов в пригороде Москвы. У них была там маленькая квартирка, где их кормили и за ними смотрели. Было это уже незадолго до смерти поэта. Он тогда с трудом подписал — почти нацарапал! — надпись на своей книге.

Прощаясь, Наташа сказала ему:

— До свидания!

А он спросил тихо и как-то замедленно:

— Вы думаете, до-сви-да-ния?...

Это была наша последняя встреча.

Первую книжку Арсений Тарковский подарил Питеру в Москве. Тон его надписей, по мере укрепления дружбы с Питером, становился все более теплым и сердечным. «Дорогому Питеру Норману в память встречи в Москве — с пожеланием счастья. 28.IV.1967 г.». «Дорогому Питеру Норману на добрую память с любовью и радостью при встрече. 31.III.1968г.». «Дорогим Наташе и Питеру с неустребимой любовью. 20.II.1984 г.».

Прошли годы. И в Лондон приехал сын Тарковского — знаменитый кинорежиссер Андрей Тарковский. В один из приездов он был занят постановкой «Бориса Годунова» в Ковент Гардене. В другой раз он показывал в Лондоне в Национальном киноцентре свой фильм «Зеркало». После просмотра фильма режиссер долго разговаривал с публикой, отвечая на записки. Питер тоже послал записку: «Мы были друзьями с Вашим отцом и были бы рады с Вами встретиться». Андрей прочел записку вслух и сказал: «Друзья моего отца — мои друзья». Так они познакомились. И он тоже побывал в доме Норманов в Голдерс-Грин.

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

Когда Солженицына «выгворили», как это тогда называлось, из Советского Союза, Татьяна Сергеевна Франк, вдова известного философа (и, напому, теца Питера Нормана) послала ему телеграмму сердечного приветствия — от тех, кого в свое время (еще в 1922 году!) советское правительство «выпроводило» из страны на том самом, ставшем позже печально знаменитом пароходе.

В Англию Солженицын приехал в феврале 1976 года.

Уже два года он жил в Европе, собирался вскоре переезжать в Соединенные Штаты, где строился для него дом на купленном в Вермонте земельном участке, но до перелета через океан писатель решил осуществить старую мечту — побывать в стране, издаека знакомой и любимой, — по Диккенсу. Как всегда, привлекала Солженицына и возможность выступить по британскому телевидению: многое наболело у него за последние месяцы.

«Желая иметь преимущество наблюдать за страной, а не чтоб она наблюдала за мною через корреспондентов и фотографов» (как пишет об этом визите сам Александр Исаевич), он подготовил поездку без огласки. Вместе с женой сначала они жили в Виндзоре, потом осуществили поездки в Оксфорд и Кембридж, инкогнито бродили по Лондону, посещали музеи и театры.

Только несколько человек были осведомлены о визите писателя в Великобританию, в их числе — извест-

ный телекомментатор Майкл Чарлтон и Питер Норман. Ему предложили переводить Александра Исаевича во время интервью, — естественно, что он воспринял это предложение как большую честь для себя.

На двадцать второе февраля телевидение Би-би-си назначило запись интервью; однако, по договоренности с писателем, транслировать его решено было только после того, как Солженицыны покинут Великобританию.

Встречу для записи организовали в большом частном доме одного из директоров Би-би-си на севере страны.

В тот день Питер довольно долго собирался до места встречи на машине из Лондона, выехав рано утром, еще в полной темноте. Часов в шесть утра все уже были в сборе.

Предоставим слово Норману:

«Наконец появился Солженицын, вместе со своей женой Натальей Дмитриевной, — розовощекий, энергичный, с быстрыми движениями. И сразу же спросил:

— Кто будет меня переводить?

Я представился.

— А вы хорошо знаете русский? Вот, например...

И он перечислил довольно много более или менее „каверзных“, то есть редких русских слов. Кажется, я выдержал испытание. Уже потом, когда запись была закончена, писатель пояснил мне, что его настороженность объясняется тем, что в Америке у него оказался однажды очень плохой переводчик, не знавший настоящего русского языка.

Встреча началась.

И сразу же для меня возник ряд серьезных трудностей. Во-первых, нас с Солженицыным посадили почему-то в разных концах зала, и я слушал его через наушники. А наушники сильнейшим образом „фонили“ — постоянное эхо чудовищно искажало звуки! Но сделать уже ничего было нельзя. И я старался и вслушивался, как мог.

Это не был доклад. Писателю задавали разные воп-

росы, он очень обстоятельно на каждый из них отвечал. На русский язык для Солженицына переводила вопросы с английского Ирина Кириллова, ныне преподаватель Кембриджского университета. Я же переводил собственную речь Солженицына.

Александр Исаевич не останавливался специально для перевода, он говорил сплошным текстом, и я вынужден был переводить с ходу. Это было уже само по себе трудно, а тут еще как назло неисправные наушники!

Потом, когда запись была окончена, все вместе обедали, и я заметил, что Солженицын постоянно обращался к жене, спрашивал ее о чем-то и советовался с ней по малейшему поводу...»

По всей видимости, Норман справился со своими трудностями блестяще, потому что по окончании встречи Солженицын обнял его и поцеловал. (Потом дома Питер скажет жене, что борода писателя явственно пахла сеном!)

Когда Питер протянул Александру Исаевичу книгу для подписи, тот сказал:

— Вообще-то я этого не люблю и не делаю, но, пожалуй, тут случай особый...

И написал на том «Архипелага ГУЛАГ»: «Питеру Норману в память о нашей работе. 22 февраля 1976 г. А. Солженицын».

Солженицыны ехали в Лондон, и Питер пригласил супругов к себе в гости. Предложение было принято.

Но увидеться больше не пришлось. Наташа уже приготовила ужин, когда Александр Исаевич позвонил по телефону и, извинившись, сказал, что он «совсем без ног» и приехать у него уже нет сил.

Выступление русского писателя на Би-би-си произвело шум в английском обществе (впрочем, и за его пределами), передачу потом пришлось еще раз повторить...

Один лейборист, Джордж Браун, — человек весьма своеобразный и экстравагантный, но совсем не глупый, вскоре заявил о своем выходе из партии. «Солженицын сказал, что мы все должны жить по правде!» — кричал он в не слишком трезвом состоянии прямо перед парламентом.

ЛИДИЯ ЧУКОВСКАЯ

С Лигией Корнеевной Чуковской Питер поначалу увиделся в 1959 году в доме ее отца, в Переделкине, за обеденным столом, когда он впервые перешагнул порог этого дома. Но в тот раз они не обмолвились друг с другом ни словом. И по-настоящему встретились много позже.

Скорее всего это произошло уже после смерти Ахматовой. Нормана не пустили в СССР на похороны Анны Андреевны, но через год-другой поездку все-таки разрешили. И Питер помнит себя уже в квартире Лидии Корнеевны на улице Горького, теперешней Тверской, — в году, видимо, 1967-м или 1968-м.

В свое время и Ахматова, и Аманда Хейт хотели, чтобы переводы «Реквиема» на английский, сделанные совместно Питером и Амандой, прошли своего рода «экспертизу» у Чуковской. (Аманда к тому времени была уже знакома с Лигией=й Корнеевной).

Питер вспоминает:

«День моего первого визита на Тверскую запомнился мне отлично. Меня усадили посреди комнаты, и я чувствовал себя как на экзамене, под пристальными взглядами Лидии Корнеевны и ее дочери Люши, испытующе смотревшими на меня с двух разных сторон. Они явно решали трудную задачку: „Что это еще за типчик сидит здесь перед нами? Надежный ли это человек? Насколько откровенно можно с ним разговаривать?“ Мне задавали какие-то вопросы, я отвечал, но подробностей беседы совершенно не помню, — помню только это

ощущение экзамена, который я должен выдержать.

Я преклонялся перед Людией Корнеевной. Я уже знал тогда от Ахматовой, что блестящая память помогла Чуковской сохранить множество ахматовских стихотворений, которые нельзя было в те годы доверить бумаге. Но я и сам имел случай отметить про себя уникальность этой памяти: если мы расставались, не договорив по каким-то обстоятельствам начатую тему, в следующий раз Людия Корнеевна начинала разговор прямо с прерванной фразы! Но главное, — она была на редкость мужественным человеком. Ее обостренная совесть не позволяла ей чувствовать себя в стороне, когда издевались над Пастернаком или решалась судьба Синявского и Даниэля. С первой же встречи мне казалось, что от нее исходит некий свет...

В тот день я оставил Чуковской тексты переводов вместе с магнитофонной кассетой, на которую они были начитаны. Людия Корнеевна неплохо знала английский — во всяком случае настолько, чтобы следить за переводом по тексту, слушая мое чтение. Мне рассказали, что обычно она слушала кассету перед сном и вносила в текст свои замечания. В это время уже предполагалось, пока еще в дальнем проекте, издание на английском языке дневников Людии Корнеевны, связанных с Ахматовой, — и переводы нужны были для этого издания.

Я был не однажды в те дни на улице Горького. Мы говорили с Чуковской о многом — и мне помогает вспомнить это надпись, сделанная 22 февраля 1967 года на подаренной мне тогда ее книге «„Былое и думы“ А. И. Герцена»; вслед за Твардовским Людия Корнеевна тоже стала называть меня Петром Петровичем: „Петру Петровичу Норману с дружеским рукопожатием на память о Москве, о Герцене, об Ахматовой, о Солженицыне — от автора“.

Я внимательно слушал замечания Чуковской по моим переводам. Их было не слишком много, и все же я внес некоторые поправки в текст.

Уже в самый первый визит я не мог не обратить внимания на то, что за домом, а может быть, именно за

квартирой Чуковской усиленно следили. Она была, что называется, „лог колпаком“. Я заметил тогда, что двор дома был переполнен машинами. В них сидели люди, видимо, отслеживая тех, кто входит и выходит из парадной. И когда я вышел от Людии Корнеевны, несколько машин поехали за мной следом...»

(Людия Корнеевна и в самом деле вела себя в эти годы с безоглядным бесстрашием. Ее повесть «Софья Петровна», посвященная репрессиям конца тридцатых годов, вышла в Париже еще в 1965 году под названием «Опустелый дом». Ее «открытые письма» и публицистические статьи на животрепещущие гражданские темы ходили по России в самизгате и транслировались на волнах зарубежного радио; в их числе, например, «Письмо к Михаилу Шолохову» в мае 1966 года — после по-

Дорогой Никитер! Извольте быть здоровым, чтобы перевести меня

ЛЮДИЯ ЧУКОВСКАЯ

*меня «спуск под воду». Иду
встретить! Еще раз спасибо за
Александрову-Кибаряджия Silvan.*

СОФЬЯ ПЕТРОВНА

спешит. Ваша ЛЧ

СПУСК ПОД ВОДУ

28/VIII 91

ПОВЕСТИ

Москва

Автограф Л. К. Чуковской
на титульном листе
своей книги. Год издания — 1988

зорной речи писателя на XXIII съезде партии. В 1968-м в самиздате появилась ее же статья в защиту Солженицына «Ответственность писателя и безответственность Литгазеты», в феврале того же года она написала статью «Не казнь, но мысль» — о попытках реабилитации сталинского режима в стране...

Она была в личной дружбе с Солженицыным. И случилось, что он подолгу жил у нее в Переделкине — и именно в эти годы! — *И. К.*)

«Похоже, что наши встречи тогда упрочили добрые отношения, и доверие было завоевано. Доказательством тому послужило следующее обстоятельство.

Спустя некоторое время в Голдерс-Грин пришел по почте большой конверт из Австрии. Один из дипломатов переслал мне от Лидии Корнеевны рукопись ее книги „Спуск под воду” — с просьбой помочь в издании и перевести на английский.

Я выполнил эту просьбу. Переслал рукопись в Соединенные Штаты, и „Спуск под воду” появился в издательстве Чехова по-русски; кроме того, я сделал перевод, и книга вышла на английском языке в Великобритании в 1972 году. Правда, я поостерегся тогда ставить собственное имя, и переводчик был скрыт под псевдонимом П. Уинстер. Мне приходилось быть осторожным, потому что я хотел еще не однажды побывать в Советском Союзе — и помнил, как в советском консульстве в Лондоне мне уже отказывали в визе...

Лидия Корнеевна получила книгу, но долгое время она не знала, что П. Уинстер — это я. Дело в том, что наши личные контакты после той поездки наолго прервались. Никакие предосторожности не помогли, и в ближайшие двадцать лет мне не давали визы на въезд в Россию. Это была, по-видимому,

расплата за неосторожность моих литературных гружб. Властям они не понравились.

Возможно, мое отлучение от России продлилось бы и еще дольше, — если бы не началась „перестройка“.

Благодаря ей я смог снова возобновить свои поездки. И теперь даже в обществе моей жены, которой прежде как эмигрантке нельзя было и думать об этом.

И мы приехали вдвоем в Москву первый раз в 1988 году, а потом еще раз в 91-м. И всякий раз мы с удовольствием навещали Лидию Корнеевну...»

Кудрова Ирма Викторовна

ПИТЕР НОРМАН: ЖИВЫЕ ВСТРЕЧИ
С РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ

Художник
Е. Б. Горбатова

Компьютерный набор
Е. А. Сотник

Компьютерная верстка
М. А. Райцной

Журнал «Нева»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 3.
Лицензия ЛР № 03116 от 04.10.1996 г.

Подписано в печать с готовых диапозитивов 26.01.99
Формат 60×88 $\frac{1}{16}$. Гарнитура «Капiна».
Усл. печ. л. 5,0. Тираж 500 экз. Зак. №

Отпечатано
в ИГЦ Журнал «Нева»
191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 3